НОВЫЙ МИР

9

1965

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI № 9 Сентябрь, 1965 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

А. ТВАРДОВСКИЙ — **Из новых стихов** 3

В. КОНАШЕВИЧ — **О себе и своем деле** (Записки художника) 12

ПИМЕН ПАНЧЕНКО — **Из лирики.** Перевел с белорусского Я. Хелемский 60

Ю. АРАКЧЕЕВ — **Подкидыш,** рассказ 64

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — **Из таймырских записей** 83

О. ДРИЗ — **Два стихотворения.** Перевела с еврейского Т. Спендиарова 104

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР — **Выше стропила, плотники!** Повесть; **Хорошо ловится рыбка-бананка...** Рассказ. Перевела с английского Р. Райт-Ковалева 106

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН — **За рабочим столом** 151

В МИРЕ НАУКИ

ЛЕОПОЛЬД ИНФЕЛЬД — **Страницы автобиографии физика.** Перевела с польского Ю. Мирская 169

В МИРЕ ИСКУССТВА

ЛЕВ ЛЮБИМОВ — **«Пермские боги»** 196

ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ЛИСИЧКИН — **Гектары. Центнеры. Рубли** (Заметки экономиста) 212

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. МАРШАК — **Молодым поэтам** 230

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 253

Л. Левицкий. Стихи хорошие и стихи случайные.— **И. Травкина.** Автору роман нравится...— **А. Наркевич.** Книга о судьбах слова.— **И. Дюшен.** Дневник Гонкуров.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

В. КОНАШЕВИЧ

★

О СЕБЕ И СВОЕМ ДЕЛЕ

(Записки художника)

Известный художник Владимир Михайлович Конашевич (1888—1963) оставил богатое наследие — книги для детей. Он иллюстрировал Пушкина и Лермонтова, Андерсена и Марка Твена, аббата Прево и многих других — в том числе советских — писателей. Больше всего у Конашевича рисунков к Маршаку. Непревзойденные его создания прославили советскую книгу для малышей. Детская книга в СССР — это явление истории. Такая книга не существовала бы без рисунков особого качества, каким обладали наши наилучшие мастера. Конашевич — из первых.

Не одно десятилетие Конашевич жил в Павловске. В последний час перед тем, как Павловск был захвачен немцами в 1941 году, он ушел в Ленинград, ушел в чем был. Он остался в Ленинграде и пережил там всю блокаду, работая непрестанно, помогая обороне. В блокаду, в самые безжалостно тяжкие зимы ее, он начал писать воспоминания. Он приглашал к себе на Моховую улицу друзей и читал им отрывки из написанного, нередко — когда город находился под обстрелом. Блокада, голод и холод, смерть, героика сопротивления вошли в эту рукопись воспоминаний контрастными краткими сообщениями автора о действительности, в которой он тогда жил.

Воспоминания помогали его борьбе за жизнь. Он как бы дополучал в них паек, недоданный блокадным «снабжением». Они отвлекали его от смерти — с пером в руке он легче отводил от нее свои глаза.

Воспоминания В. М. Конашевича — в своем жанре — образец высокий, учащий литераторов, увлекающий читателя. Автор рассказывает, как созревал в нем художник, воспитывавшийся в семье старого интеллигента. Это быт прошлого, живущий в памяти уже заслуженного мастера. Великолепно описаны взрослые, старшие, уклад их повседневья, представления о «должном и сущем». Персонажи разновидны, их немало. Герой один: мальчик-фантазер, строящий миры из игрушек. Рост мальчика как бы предвосхищал его будущую судьбу художника. Пришло время — за его картинками потянулись неисчислимыми толпами советские ребятишки. Рассказ доведен до поры ранних поисков художника.

Удивителен в воспоминаниях колорит изображений. В него вошли краски Украины (Чернигов), краски России (Москва), история своеобычной и в чем-то обыденной семьи, ее родственных ветвей и множество оттенков этих красок. Сами изображения возникают из сотен деталей, найти которые мог только ребенок, только этот ребенок, продолжающий жить в искушенном художнике, который уберег ясность своего детского зрения. При этом — никакой аляповатости, которой страдают все, кто подделывается под детский язык. Никакой стилизации. Отличное чувство слова. И замечательно, что если Конашевич прежде брался за перо, то только чтобы рисовать. Он никогда не литераторствовал. Жалко, что воспоминания не были завершены: это очень хорошая проза.

Конашевич — художник глубоких, часто крутых поворотов в своих долголетних исканиях. Если бы им было рассказано о зрелых годах труда, то читателю понятнее стали бы его беглые высказывания о своем «идеале». Мне кажется, он настолько любил свое дело, что был убежден — оно само служит людям, если мастер верен долгу призвания.

Конст. ФЕДИН.

«От четырех до шести»

...Декабрь 1941 года. Везут на санках некрашеные гробы — большие и маленькие. Все бело от снега. У тротуаров нагребли целые горы. Трамваи стоят на путях, засыпанные снегом. По белым улицам движутся толпы людей. Стоят бесконечные очереди — на всякий случай: авось что-нибудь будут давать. И расходятся, ничего не дождавшись. Слышны редкие выстрелы или взрывы. Это «нас обстреливают». Радио предлагает идти в убежища, прекратить хождение по улицам и не собираться толпами. Но все так же движутся черные потоки людей, стоят длинные вереницы очередей.

Эта белая зима напомнила мне давние московские зимы, когда на улицах так же лежал снег. С тех пор, как автомобиль окончательно вытеснил лошадь с санями, уже много лет снег сгребают до самого асфальта мостовых, до самых плит тротуаров. Он незаметно исчезает, и в городе всю зиму стоит унылая, черная осень. Прежний зимний вид города понемногу забылся.

А вчера, когда я шел домой, перебираясь через сугробы, мне так ясно вспомнились московские зимы моего детства. В Петербурге я уже не помню старых белых зим, может быть, потому, что живу здесь из года в год,— облик города постепенно изменялся на моих глазах, и последние годы прочно заслонили в моей памяти все прошлое. А в Москву я наезжаю теперь редко, и она легко вспоминается мне такою, какой я видел ее в детстве...

Так же, как сейчас, шел снег. И становилось тихо. В комнатах стелили ковры и голоса звучали по-иному: глуше, тише. На улицах тоже как будто делалось тише. Грохот телег и пролеток, на которых редко тогда были резиновые шины, сменялся беззвучным движением саней. Голоса прохожих и кучеров, покрикивавших на лошадей и зазевавшихся прохожих, как и в комнатах, звучали по-иному: мягче, но явственнее.

Я помню раскрасневшееся на морозе лицо тетки, которая всегда водила нас с сестрой гулять, и засыпанные снегом деревья, и решетки Цветного бульвара.

Но начну свои воспоминания по порядку. Успею ли только?.. Ведь это Ленинград. Идет зима 1941 года...

Фантазия

Несколько лет тому назад, по предложению одного издательства, я написал автобиографию, очень сжатую, которую начал приблизительно так (говорю — приблизительно, потому что не могу восстановить точно: все списки этой рукописи остались в моей квартире в Павловске, откуда в середине сентября мы с женой выбирались уже под огнем немецкой артиллерии. Возможно, что там все погибло). Так вот как я ее начал:

«В углу, где я устроился — между маминым комодом и шкафчиком с нашим детским бельем,— был уютный полумрак. На коленях у меня лежала книжка, которую мне подарили недавно ко дню рождения: мне исполнилось четыре года. Читать я начал в пять лет, через год, а теперь рассматривал только картинки. Переворачивая страницу за страницей, я стал замечать, что всякий раз, как я приподымаю лист книжки, в моем углу становится светлее. Это заинтересовало меня, и я стал доискиваться, в чем дело. Оказалось, что листик книги на мгновение становится так, что свет из окна над моей головой, отражаясь от него, падал на темную стену под окном. Это мне показалось настоящим волшебством:

я могу «повернуть» свет из окна, «заставить» его освещать темные углы, куда он сам заглянуть не хочет.

Мои опыты и изыскания в этом направлении никогда бы не кончились, если бы не голос тетки: «Вставай, вставай, Володя! Пора идти гулять. Что за манера по два часа сидеть на горшке!»

На дворе была весна (я родился 7 мая 1888 года), в саду чирикали воробьи, цвели желтенькие одуванчики, на кустах сирени распускались почки. Но меня ничто не занимало. Все мои мысли были в темном углу под окном, у маминого комода.

Вернувшись домой, я стал продолжать свои опыты. Когда мне подвернулась книжка в зеленой обертке, моя темная стенка озарилась зеленым светом. Так я совершал все новые и новые открытия. Когда потом (и довольно скоро) я узнал, что луна освещает наш мир ночью так, как можно осветить по вечерам нашу темную детскую светом из столовой, если белую дверь приоткрыть и повернуть, как надо,— это уже не было для меня большой неожиданностью.

Потом в реальном училище на уроках физики учебник Краевича только привел в порядок мои знания. В том, что угол падения равен углу отражения, новости для меня тоже не было: это я знал уже по первым своим «опытам» в углу детской».

Так вот как торжественно я начинал свою автобиографию! Почти как Владимир Мономах свои завещательные поучения: «На санях седя»... Но у меня, как у гейневского Гиршка-Гиацинта, принявшего английскую соль, было «иное седалище».

Вот эта-то слишком житейская подробность очень не понравилась редакторам издательства, для которого я писал свои заметки.

А вместе с тем этот трон, время, проведенное на оном всегда одновременно с сестрой, которая на полтора года была моложе меня, были для нас моментами, когда особенно пышно работала наша фантазия. Тут именно получила начало бесконечная история про «гадкого мальчишку».

История эта — вернее, целый ряд историй, связанных одним героем,— рассказывалась без конца и начала, с массой все новых и новых вариантов, новых и новых добавлений, пока не была решительно запрещена мамой, случайно ухватившей ухом рассказ о каких-то действительно мерзких проделках нашего героя. После этого «вето» наша история про «гадкого мальчишку» перешла на некоторое время в подполье, пока не забылась вовсе.

Этот герой наш в самом деле заслужил свое имя за год или полтора своего существования в нашем детском воображении. Он был почти нашего возраста — ну, может, чуть старше: мальчишка лет шести. От обыкновенных детей он отличался тем, что его не привлекала обыкновенная детская еда: ни манная каша, ни булочки с маслом. В особенности же он не терпел ничего самого для детей лакомого: ни пирожных, ни конфет, ни варенья. Его тянули к себе всякие гадости: все садятся за стол, где кипит самовар, красуются сдобные крендельки и варенье, а он бежит на помойку. Он ел все самое отвратительное, что только могла выдумать наша фантазия. Кроме того, он был злой, озорник и непослушный мальчик. Мы с сестрой никогда не вздумали бы ослушаться старших, не были озорными. Я думаю, что этого «героя» мы и создали в противовес нам, паинькам.

Гадкие склонности нашего «гадкого мальчишки» были тяжелым крестом для его мамы, которую мы искренно жалели. Она была обыкновенной женщиной и даже «тонной дамой», у которой бывали в гостях другие дамы с хорошими детьми. Вообразите, какой подымался пере-

полох, когда нянька притаскивала «гадкого мальчишку» за шиворот или за ухо с помойки. Место действия мы брали из какой-нибудь нарядной и благонамеренной детской книжки — по контрасту. Это была или гостиная, или садовая беседка, где мама сидела с гостями. Тут появлялся обычно папа или дворник со свистком, и дело кончалось поркой, которая, кстати, вовсе не действовала на нашего героя.

Другая бесконечная эпопея — еще более фантастическая — «История про лилипутиков».

Мы рассказывали ее друг другу по вечерам, за ужином. Обедали мы и пили вечерний чай, когда не было гостей, за общим большим столом в столовой. Ужин же нам всегда подавался в детской. Тут стоял круглый камышовый столик, обитый сверху желтенькой клеенкой с рисунком под дуб, и два таких же маленьких креслица. Вот тут, за этим «круглым столом», и родились наши легенды о малюсеньких человечках. Мы твердо верили в существование таких маленьких человечков с наш детский палец, не больше. Ведь жила же когда-то Лизок с вершок, почему и другим таким же не появиться у нас в детской? И мы ждали, затаив дыхание, что вот-вот выскочит такой малыш из щели двери, которую неплотно закрыла за собой тетка. Каша стыла, а мы все сидели, не отрывая глаз от этой щели. Вот уже тетка появилась снова с горячим молоком. Мы получали легкий нагоняй за несъеденную кашу и по кружечке молока. Как хорошо я помню эти кружечки! Одна была розовая с надписью «Соня», сделанной славянскими буквами на белой полоске наискось. Другая голубая такая же — с надписью «Володя». Я был аккуратен и сохранил эту кружечку, пока не вырос. Много лет стояла она потом в буфете, пока не попала в лапки моей двухлетней дочери — она ее и разбила.

Как-то я раздобыл ножницы, к которым не полагалось прикасаться, намереваясь что-то вырезать из бумаги. Их с ужасом у меня выхватили, боясь, что я себе уже искромсал руки. Но руки мои были целы, зато клеенка на нашем круглом столике оказалась порезанной. Потом я загнал туда обгорелую спичку, взятую из пепельницы. Я вспомнил о ней за ужином и, показав сестре, сказал: «Соня! Соня! Вот маленький человечек!» И сейчас же сам, по крайней мере наполовину, поверил своей выдумке. Какое это было сложное, более чем двойственное чувство! В глубине-то души я знал, что это всего-навсего спичка, потому и оттягивал всячески появление ее на свет божий. Вместе с тем, видя почти полную веру сестры в то, что под клеенкой живой человечек, я сам начинал в это не то что верить, но сильно надеяться, что спичка какими-нибудь чарами в него превратилась. Потом долгие усилия тихонько вынуть его, не повредив тонких ручек и ножек, сделали его невероятно драгоценным и совсем убедили нас в том, что это он — долгожданный крошечный человечек! Разве же стоило тратить так много усилий на простую спичку?! Мы останавливали несколько раз нашу «работу», споря чуть ли не до драки, кто это: мальчик или девочка (я, конечно, хотел вынуть мальчика, а сестра девочку), долго обсуждали, куда «его» денем, где «он» будет спать, как «его» зовут.

Мне и сейчас не хочется писать о нашем разочаровании, когда из прореза клеенки появилась спичка. Какое это было горе, горе до слез! И горе неожиданное даже для меня.

Тетка, кормившая нас ужином, совершенно была сбита с толку, не понимая, что за игру мы затеяли и кто кого обидел.

И вот начались рассказы о похождениях маленьких человечков, теперь уже невидимо живших около нас. Каких только приключений не пережили в нашей детской эти малыши, которых теперь стало много.

Игры. Знакомства

Наш день, как и у всех детей нашего времени, начинался с молитвы. Прочтя короткую молитву, составленную для нас отцом, в которой заботе бога поручались «папа, мама, бабушка, дедушка и все родные и знакомые», мы мылись, одевались и шли в столовую пить чай с молоком и розанчиком — другой формы булочки мы не признавали. Попив чая, мы возвращались в детскую и прежде всего, пыхтя и толкая друг друга головами, выдвигали из-под кровати ящик с игрушками, вернее с обломками игрушек, потому что в это почетное помещение попадали только заслуженные, любимые, испытанные друзья. Здесь были куклы без ног или без рук; лошадки, потерявшие подставки и колесики; деревянные кучера без лошадей и санок, которые валялись тут же отдельно; разные драгоценности иногда непонятного нам назначения, так как они происходили из обихода взрослых. Все это было перемешано с разрозненными кубиками разных величин.

Общими усилиями мы вытаскивали наш ящик и опрокидывали его на середину ковра, занимавшего почти всю нашу маленькую детскую. Ящик убирался обратно под кровать, а куча нашего хлама красовалась посередине детской весь день до ужина, когда мы сами должны были ее убрать. Иногда какие-нибудь домашние события или интересные гости отвлекали нас от нашей кучи. Но вывернуть ее на ковер мы не забывали и делали это непременно сейчас же после утреннего чая — таков был обычай.

Когда появились у нас в детской маленькие человечки, они участвовали во всех наших играх. Мы строили для них дома, помогали им перебираться через всякие препятствия в виде гор из кубиков и воображаемых рек, спасали их от разных зверей.

Для тетки и мамы настала тяжелая пора! Входя в детскую, они всюду рисковали растоптать кого-нибудь из наших дорогих крошек. Ну, что делать, если детскую залил потоп и единственное место, где могут спастись малыши,— высокая гора — стул перед маминым рабочим столиком,— на которую они лезут, подсаживая один другого, и вот уже достигают вершины... А мама входит и садится на этот стул!

Наша квартира на Садовой-Самотечной из четырех комнат помещалась на антресолях старого дома, когда-то бывшего, по-видимому, чьим-то особняком. В исторические, уже близкие нам времена в нем помещалась лошадиная почта и в наших комнатах жили ямщики. Теперь, когда мы поселились в этом доме (в 1890 году), там находился Крестьянский банк, где служил мой отец.

Перед домом был сад с большими, старыми деревьями, так что дома почти не видно было с улицы. Этот сад мы называли «большим», потому что еще был садик на нашем дворе, перед одним из надворных флигелей, который няньки называли «полусадником».

Недавно, года три назад, мне случилось заглянуть в нашу детскую еще раз — уже в последний: дом ломали. Открылись две стены детской с двумя маленькими, почти квадратными окошками в одной из них и стена столовой с большим итальянским окном. Эти стены когда-то замыкали для меня целый мир—огромный, полный разнообразия, крупных событий и чудес! Тогда они обладали волшебным свойством, повинуясь моему фантазерству, раздвигаться до беспредельности. Сейчас их «раздвигали» ломами и лопатами рабочие, подымая тучи пыли.

Я было скользнул равнодушным взглядом по этим развалинам. Но что-то кольнуло меня в сердце: два окошка нашей детской смотрели на меня какими-то очень родными глазами. Я стал вглядываться внима-

тельней. Трудно было узнать нашу комнату: вместо уютных обоев с голубоватыми полосами она была выкрашена светло-зеленой клеевой краской с коричневой полоской по краям стен и трафаретным рисунком по углам. Да и сам дом! Он уже не стоял в большом саду, не прятался за деревьями. Перед ним расстилалась асфальтовая пустыня Садовой. Колонны с аттиком были убраны, по-видимому, еще раньше, когда уничтожался сад. Тогда же снесли и лестницу, которая вела в сад из средней, заделанной теперь двери, чтобы дать место тротуару, проходившему теперь под самыми стенами дома.

Я узнал дом и двор окончательно по двум деревянным флигелям, сохранившимся без всяких изменений. Даже краска на них осталась та же — красновато-коричневая. Дом, когда его стали ломать, оказался тоже деревянным. Я заглянул сквозь сломанную стену в нашу детскую, и вспомнилась мне вдруг со всеми подробностями наша жизнь в этой уютной комнате, в этом доме.

Вспомнились и жильцы нашего дома, которые встречались нам во дворе. Одних мы с сестрой разглядывали с любопытством издали, с другими познакомились, даже подружились. Сам хозяин, казачий генерал Дукмасов, проходил иногда по двору, попыхивая огромной сигарой,— толстый, большой, важный. Еще крупнее его, по крайней мере выше его, если не толще, был тенор Большого театра — Донской. На него с благоговением взирала тетка. От нее мы и узнали, что он тенор, а что такое «тенор», мы не могли сообразить. Нас только забавляло, что, когда он заговаривал, из такой огромной туши звучал совсем женский голосок. Другого музыканта из Большого театра, капельмейстера Альтани, я никогда не видел. Он был для меня мифом, если бы не его сын, мальчик почти моих лет, с которым мы пытались подружиться, но так и не сошлись. Он даже был как-то у меня в гостях и поразил своим видом. На нем была черная бархатная куртка с белым отложным воротником и такими же манжетами. А когда он снял шляпу, по плечам рассыпались каштановые кудри. Конечно, я не успокоился, пока мне не сшили такую же куртку (в этом наряде тетка называла меня почему-то графом Калиостро).

В теплые, летние дни на нашем дворе появлялся высокий худой старик, медленно проходивший всегда по солнечной стороне, опираясь на трость с ручкой из слоновой кости. Когда он не надевал пальто, на нем тоже был бархатный костюм — черный пиджак, обшитый тесьмой.

Ближе всего мы сошлись с маленькими старичками, жившими на нашей лестнице, дверь в дверь с нами. Их было трое: муж с женой и сестра кого-то из них. Уж, наверно, они в самом деле все трое были невелики ростом, если они и нам, малышам, казались меньше всех взрослых людей.

Меньше их был, пожалуй, один князь Яшевиль, который иногда приходил в гости к тетке. Это был сморщенный человечек неопределенного возраста. Сначала я видел только его огромный, горбатый, слегка кривой нос. Потом уже можно было разглядеть и сальные волосы, разметанные по потертому воротнику слишком длинного обтрепанного пальто, и грязную бахрому на брюках, и непомерно большие галоши.

От общения с ним тщательно оберегались мы, дети. Тем более занимал он нас. Особенно после того, как мама сказала о нем: «Подумать только, что они с матерью, при всей своей крайней бедности, устраивают журфиксы для своей такой же обнищавшей знати, на которых подается четверть фунта тонко нарезанной колбасы и спитой чай, который князь выклянчивает по трактирам». Разглядывая украдкой жалкую фигурку

князя, я все хотел спросить его, что это за «журфиксы» они устраивают со своей мамой (и какая у него может быть мама!) и при чем тут колбаса и какой-то спитой чай?

Наши маленькие старички, к которым мы с сестрой заходили иногда, возвращаясь с прогулки, жили в такой же небольшой квартирке, как наша, в таких же низеньких комнатках — чистеньких и уютных. Сами наши маленькие старички были какие-то пепельно-серые, совсем не такие чистенькие, как их комнатки. Мне они иногда казались заколдованными мышками, которых какой-то волшебник превратил в людей. У сестры старичка (а может быть, его жены) был смешной румянец, почти пунцовый, ярче всего на носу, сползающий на щеки. А сам старичок был весь в коричневых пятнах, между которыми проступала нежная, розовая кожица. На руках он постоянно носил серые нитяные перчатки, пальцы которых были срезаны, и из них торчали его пальцы с желтыми ногтями. Все это не укрывалось от нашего детского внимания, и мы всегда с немножко брезгливым сомнением принимали от них большие белые пряники в виде рыб и коней, которые, как я заметил, существовали в природе только для подарков и в таких случаях непременно вынимались откуда-нибудь из самой глубины комода.

Уют квартирки старичков создавался половичками на ярко натертом воском красном крашеном полу, обилием всяких комнатных растений на окнах и перед окнами, клетками со щеглами и канарейками, кружевными салфетками на комоде и столиках.

Люблю я этот тихий уют! Сколько в нем теплоты, интимности; человеческое жилье он отгораживает от улицы — растянутой, раздвинутой в бесконечный мир, в котором теряется человек, становится одним из очень многих. А здесь, среди своих цветов, птичек и салфеточек, даже маленький, скромный человек — Человек и Хозяин. Все вокруг него — все эти этажерочки и креслица,— все собралось и стало для этого человека по его вкусу и для его скромного удобства.

Вот это слово — удобство, комфорт — к концу XIX века впервые наполняется настоящим содержанием. Какие там удобства, какой комфорт сто лет назад! Жилище человека XVIII века не было ни уютным, ни даже удобным. У богатых оно было пышным, излишне торжественным, и только. Обилие крепостной прислуги, в несколько раз численно превосходящей господ даже у людей среднего достатка, не создавало никаких особенных удобств: сколько нужно лакеев, чтобы заменить один телефон, и сколько лошадей в конюшне, чтобы возместить отсутствие железных дорог!

А керосиновая лампа? Я помню рассказ отца о первом ее появлении в доме (в шестидесятых еще годах). Лампочка была маленькая, с плоским фитилем и прямым стеклом, вроде тех, что потом вешали в кухнях на стенке. А ее повесили в зале! Да еще собрались всем домом полюбоваться ее «ярким» светом. А потом на радостях устроили танцы под рояль при свете этой первой керосиновой коптилки. Смешно! Потом я пережил появление еще большего чуда — электрического освещения.

Сейчас, когда мои расплывчатые воспоминания увели меня в уютную квартирку наших старичков, я начинаю понимать, какую все-таки особенную и значительную эпоху освещала эта керосиновая лампа. Я всегда относился к ней как-то свысока, считая это время — всю вторую половину XIX века — эпохой, не имеющей ясно выраженного лица. По-видимому, у меня утратилось уже непосредственное ощущение эпохи, а вместе с тем я недостаточно еще от нее ушел, мало отдалился, чтобы почувствовать ее объективно, как это стало возможным по отношению к

более ранним годам — к началу XIX века, которые меня всегда влекли к себе ясной стройностью своего стиля [1].

Именно так: чтобы верно почувствовать смысл, характер эпохи, надо или видеть ее глазами современника, то есть жить в ней, или удалиться настолько, чтобы посмотреть на нее объективно, оценить в ряду других времен.

Не так давно я перечитывал рассказ Чехова «Поцелуй», который, кстати сказать, мне всегда нравился меньше многих других его рассказов. В нем с обычным для Чехова лаконизмом начерчен пейзаж: офицеры, приглашенные на вечер к помещику, идут по тропинке, которая тянется за оградой церкви, вдоль спуска к реке. За рекой — поля, кусты, соловей поет. Прочел, перечел, еще раз прочел — и совсем не почувствовал пейзажа, не возникает он перед глазами, и все тут! Я же знаю, что Чехов никогда не говорит пустых или неточных слов и не пишет о том, чего не видел и не чувствовал.

Виноват, значит, я. Так и оказалось: я все пытался «прочесть» этот пейзаж своими глазами, глазами художника наших дней. Но как только мне пришла в голову счастливая мысль представить себе этот пейзаж уже написанным Левитаном — все сразу стало на свое место: пейзаж возник передо мной полнокровный, ясный.

К концу XIX века если не закончился, то определился и вошел в жизнь целый ряд совершенно замечательных открытий и изобретений в области техники (электричество, фотография). А войдя в жизнь, всеобщую и повседневную, изменил ее, создал многие удобства, которые теперь вдруг стали доступны самому среднему по достатку и положению человеку. Телефон, телеграф и даже простой электрический звонок в столовой, который богатей-вельможа XVIII века почитал бы чудом роскоши, стал вещью обычной в обиходе всякого городского жителя. Рядом с этим и потребности этого горожанина выросли. Обязанности его перед обществом тоже выросли. Если раньше он лежал на диване и курил трубку, которую от времени до времени набивал ему казачок Егорка, или от скуки занимался литературой с пятого на десятое, все остальное время фланируя по Невскому или по Тверскому бульвару, то теперь ему приходится хоть немного поработать — послужить хоть в одном из тех банков и контор, которых к концу века расплодилось достаточно много. А «поработав», то есть отсидев от девяти до четырех, он — этот конторщик — бежал домой и предавался домашнему уюту с тем большим удовольствием, чем больше «трудов» требовалось от него, чем дольше ему пришлось проторчать на людях среди шума и толчеи. А время становилось почему-то горячим, торопливым. Поезда не ждали, телеграф приносил известия поскорее, чем раньше почта на дилижансах, дела закручивались крупнее — словом, жизнь становилась суетливой, беспокойной. Особенно для того, кто не хотел остаться за бортом. Тем большего спокойствия и удобств у себя дома, в быту, жаждал такой деловой человек (а кто же тогда не был «деловым»). В ответ на это изменяется и весь уклад жизни, а вместе с ним и самый «антураж», интерьер жилища.

> «...ему доставляло величайшее удовольствие въезжать в их ворота, через двор пройти в подъезд, пройти через переднюю, обе гостиные и наконец проникнуть в будуар, молчаливый, как гробница, теплый, как постель, где вся мебель была простеганная, и посетитель то и дело натыкался на всевозможные предметы, рассеянные по всей комнате: шифоньерки, экраны, кубки и подносы — то лаковые,

[1] Везде здесь я говорю о внешнем выражении эпохи, сказавшемся в том, что окружает человека (стены, мебель, костюмы), а не в том, что его наполняет (мысли, стремления).

то черепаховые, из малахита и слоновой кости; бездна безделушек, которые стоили дорого и беспрестанно менялись... Однако все гармонировало между собой и даже поражало взор благородством целого, что зависело, может быть, от высоты потолка, от пышности великолепных портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов».

«...будуар, обитый бледно-голубой шелковой материей с разбросанными по ней букетами полевых цветов... Все ему казалось удивительно нарядным и изящным: искусственные вьюнки, обрамлявшие туалетное зеркало и занавесы на камине, и турецкий диван, и альков в виде шатра из розового шелка с чехлом из белой кисеи...»

«...он впился глазами внутрь экипажа, обитого голубым репсом и шелковым басоном с бахромой. Пышный наряд дамы наполнял всю карету; из этой шелковой, простеганной коробки доносился запах ириса и как бы смутный аромат женского изящества...»

Я здесь повыписал из «Воспитания чувств» наудачу несколько мест из обильных у Флобера описаний обстановки, обрамляющей везде действие романа. Это все богатые, пышные интерьеры. Но и обстановка жилищ людей среднего и даже ниже среднего достатка в принципе та же. Только стены и мебель обиты не шелком, а ситцем.

В середине века приходит резкая, как будто внезапная смена вкусов: обычное для первой половины XIX века убранство комнат, по характеру простое и строгое (темное красное дерево в ранжире расставленной по стенам мебели, строгие формы которой ничем не скрыты, скупость украшений — какая-нибудь ваза на колонке, вышитая скатерть на преддиванном столе), вдруг сменяется «уютными» интерьерами, где мягкая, сплошь обитая, стеганая мебель, украшенная бахромой и кистями («глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели»,— сказал Козьма Прутков), расставлена прихотливо и неожиданно, где камин и многочисленные этажерки, полочки и столики завалены всякими украшениями, разного рода безделушками, а двери и окна старательно занавешены шторами и драпировками — все для того же уюта, чтобы отгородиться от уличного шума и суеты застенной жизни, чтобы дома чувствовать себя недосягаемым в покойной обстановке. Это не случайная, конечно, перемена вкуса, а необходимость, вызванная, как я пытался рассказать выше, сменой потребностей.

Те же новые потребности вызывают в городах еще новое явление. Раньше зажиточный и даже средний житель города — это чаще всего помещик, приезжавший в городской свой дом (если он побогаче, или снимавший квартиру, если у него средств поменьше) на зиму и привозивший вместе с бесчисленными няньками, мамками, казачками, камердинерами и прочей дворней огромный запас всякой снеди своей деревенской заготовки — копчения, соления, варения и проч., и проч., и проч.,— который с установлением санного пути постоянно пополнялся. Городские лавки существовали больше для простого, рабочего люда, и только в двух-трех «французских» магазинах содержались иностранные тонкие разносолы и вина для любителей и знати. Теперь, со второй половины XIX века, постоянный горожанин — уже не только мастеровой да мелкий писарь. Город притягивает и помещичьих сынков на постоянную жизнь, плодит и размножает купцов всякого типа и ранга; банки и конторы наполняют город деловыми людьми и людишками. У всех этих людей и людишек потребности растут и множатся, а поместий, откуда везти копчения, соления да домотканые сукна, нет. Вот тут и начало того обилия лавок, которые снабжают горожанина всяким продуктом, и гигантского,

почти дикого к концу века (на наш теперешний взгляд, конечно) разнообразия снеди и всяких иных предметов обихода и роскоши, которое в полном расцвете я еще застал в девяностых годах прошлого века в Москве.

Да и где, как не в Москве, это обилие должно было дойти до полного расцвета. Москвич внимателен к еде, да и вообще ко всякой вещи, и во всем ты ему подай самое настоящее. Да он и сам знает, где его искать, за чем куда идти. Городские сухари всех сортов — от простых сдобных до маленьких сливочных, обсыпанных миндалем, и баранки — от толстой сдобной до тоненькой сушки, брались у Чуева, торты — у Трамбле. У него же и пирожные всех видов — только не меренги, боже упаси: за меренгами москвич шел к Флею! Фруктовые конфеты, цукаты и все, что из фруктов,— у Абрикосова и у Сиу; но не пастилы и смоквы: эти только у Прохорова. Кулебяки, пирожки и калачи — у Филиппова: хоть калач повсюду тот же калач — более точного стандарта не создать,— но уж так повелось. В больших гастрономических магазинах на Тверской, у Белова и Генералова,— все колбасные изделия. Но чтобы настоящий, уважающий свой вкус москвич взял у них сосиски? Никогда! Он за ними поплетется на Цветной бульвар в маленькую немецкую колбасную Бензеля. Зато уж ничего другого, кроме венских сосисок, там не возьмет, хоть и все остальное у этого немца отменно хорошо. А громовские сельди, а горшковская ветчина, а тестовские блины и поросята, которых отпаивали молочком в особых стойлицах, чтобы жирок не «сбрыкнули»! И так во всем, во всем — не только в еде, конечно. (На еде-то я застрял потому, что мы сейчас только о ней и думаем.)

Елка

Я помню, мамина подруга девичьих дней Неточка, или Анна Федоровна,— чудесный человек и сильно ядовитая на язык старая дева, служившая в ту пору под папиным началом,— ездила куда-то очень далеко, к какой-то заставе, в фабричный магазин, где можно было достать дешевле, чем всюду, шоколад в маленьких плитках с оттиснутыми на них выпуклыми изображениями всякого зверья. Случалось это раз в году, перед нашей елкой, для которой эти шоколадки предназначались. Их заворачивали в цветную или золотую бумагу, наклеивали на них картинку или золотые звездочки — и елочные конфеты готовы. Дома же готовились и всякие другие украшения в виде коробочек, ведерок и бонбоньерок всякого рода. Мастерил их папа, который был великим артистом на такие дела. А делалось это все дома не для того, чтобы нас занять работой или позабавить (от нас, наоборот, это все держалось в тайне), а из экономии (покупное — дороже), как и многое делалось у нас дома из экономии. Мама, например, сама нас обшивала (до самой гимназии); по субботам у нас к столу подавались только щи и каша. Словом, жили мы, как я теперь вспоминаю, туговато, хоть мне тогда этого и не казалось. И если я что-нибудь видел только в окнах магазинов и у знакомых побогаче, то думал, что дома этого нет только потому, что «не принято», «не полагается», в силу традиции, что ли. И если бы появилось что-нибудь непривычное, так это был бы уже не наш дом с таким незыблемым распорядком, который и давал нашей жизни что-то очень прочное, постоянное, что и дальше изменяться не должно.

И в этот волнующий вечер все у нас происходило по заведенному порядку. После обеда прибывала Неточка с шоколадом и со своей сестрой украшать елку. Двери в столовую — она же гостиная — закрыва-

лись, и мы оставались в детской. И тогда вносилась елка, о размерах которой мы старались заключить по топоту ног дворника и всяким иным «шумовым» признакам, страшно боясь, что она будет не «до потолка», уверенные, что елка не до потолка ненастоящая, нехорошая. В наших комнатах, где до потолка доставал рукой всякий взрослый среднего роста, удовлетворить наше требование было не трудно. Тем более что елку иногда ставили на табурет, замотанный простыней и обложенный ватой.

На нашей елке побывали как-то дети папиных богатых родственников, купцов. Мой прадед совершил то, что в его среде называлось мезальянсом: женился на купчихе, сестре московского суконщика и банкира. В третьем поколении родство это сильно поразбавилось, и богатые родственники мало с нами водились. Они жили в особняках, в огромных хоромах, а не в маленьких комнатках, как мы; и одна из папиных теток рассказывала потом, какую ей пришлось возводить грандиозную елку, когда ее дети потребовали, чтобы она была, как у нас — до потолка.

Был и я с отцом на этой елке и нашел, что у нас и елка лучше, милее, и веселее нам с сестрой на нашем диване у елки, чем там, с малознакомыми детьми, в огромной гостиной, заставленной шелковыми креслами и диванами, на которые не влезешь с ногами. Да и мой костюм, самый нарядный, которым я так гордился дома,— шерстяная шотландковая рубашка, подпоясанная кавказским поясом с серебряными (настоящими серебряными!) филигранными украшениями, черные шаровары из настоящей «чертовой кожи» и сапоги «гармошкой» с лакированными голенищами — показался не то что деревенским, но грубоватым, неизящным рядом с английскими костюмчиками мальчиков, их шелковыми чулками и лакированными туфлями. Не говоря уже о девочках, которые были расфуфырены, как куклы!

Итак, мы сидели за дверью и ждали, когда нас пустят к елке. За дверью слышались разговор и смех взрослых, шум пододвигаемых к елке стульев, иногда кто-нибудь там вскрикивал, и по полу сыпалось что-то мелкое (мы уж знали — это рвались бусы). А мы с сестрой сидели на ковре в своей детской и вертели аристон, проигрывая все его пьесы, выбитые дырочками на картонных желтых кругах. Это было так же непременно, как все вокруг нас: всякий раз, чтобы скрасить нам нудные часы ожидания, нам выдавался аристон с кругами. Приходилось вертеть ручку аристона, и пищал вальс «Тигренок», его очень любила моя сестра Соня, а я ей во всем уступал. Раз только, когда он мне сильно надоел, я перевернул круг на другую сторону, и аристон заиграл «Тигренка» наоборот, от конца к началу. Меня так заняла эта неожиданная какофония, что я принялся проигрывать так навыворот все круги один за другим.

Тут старшие, почувствовав, как мне надоела музыка, а может, жалея свои уши, высылали к нам все ту же нашу тетку, которая бралась за аристон сама, закручивала на нем «Камаринского», заставив меня плясать под эту музыку вприсядку. Это я делал охотно: казачок считался моим коронным номером (и единственным), который я проделывал иногда и при гостях, когда родители хотели похвастать моими талантами.

В самый неожиданный момент, когда мы даже немного забывали о двери, она открывалась, и мы застывали на пороге всегда в одном и том же немом изумлении.

Последние слова я написал в вербное воскресенье.

Прошла страшная зима — наступает не менее страшная весна. Наступает туго: все еще морозы, тает только на солнечном пригреве.

Огромные снежные сугробы превратились в ледяные горы. Многострадальное население, вышедшее на трудовую повинность, раскалывает эти ледники и вывозит в ящиках и просто на листах фанеры в скверы и каналы. Туда же сваливаются нечистоты со дворов, где они наросли коричневыми холмами.

Как мало стало народу на улицах... Покойников уже не возят в гробах. Их везут на санках завернутыми в старые одеяла, занавески с окон и всякое тряпье непонятного уже назначения.

Везут недалеко: сваливают тут же за решетками скверов, на пустырях, у ворот больниц и поликлиник.

В соседнем переулке такой склад на бывшем дровяном дворе. Двор полон, в ворота уже не войти, а все везут, несут и складывают у ворот и вдоль забора. И кажется, что из открытых ворот вылился поток покойников и разлился на пол-улицы.

Мы с сестрой стояли на пороге столовой в немом, восторженном изумлении. Елка сверкала живыми огоньками свечек, огоньки отражались искрами на золотом и серебряном дожде, на позолоте орехов, блестках коробочек и золотой обертке шоколадных конфет. Крымские яблочки вертелись на своих нитках вправо и влево, показывая то желтые свои, то красные бочка, а наверху сияла серебряная стеклянная пика, в самом деле упиравшаяся в потолок.

Мы наскоро здоровались со взрослыми гостями, которых еще не видели, и шли скорее к елке. Мы начинали искать прошлогодних знакомцев. Вот они все: вот золотая рыбка, вот золотой верблюд, а вот и коварно улыбающийся профиль серебряного месяца. В прошлом году только (дальше-то прошлого года нашей памяти некуда было углубиться) все они висели на других местах. Месяц с прошлогодней своей высоты, с вершины, скатился теперь почти в самый низ елки, а верблюд забрался на самую высь. Тут или там, но все они были налицо. Их семья еще даже увеличилась! В этом году появились на елке очень хорошенькие зверушки — уже не золотые и серебряные, а покрашенные в естественные цвета и очень натурально сделанные. По первоначалу они нам понравились очень именно тем, что уж очень были похожи. Но потом мы нашли такой натурализм на елке не к месту: все на ней должно блестеть, сверкать, искриться — прежде всего быть украшением.

Побродив вокруг и осмотрев всю елку, мы забирались с ногами на диван, на который придвинутая к нему вплотную елка тоже разложила свои лапы, и притихали, слушая разговоры взрослых, которые теперь садились пить чай.

Я не помню чужих детей на наших елках: мы были одни, наслаждались тихим счастьем созерцания пышного и вместе с тем уютного блеска елки, слушали потрескивание свечек или вспыхнувшей на ветке хвои. И нам не хотелось шума. И потом меньше всего нам доставляло радости буйное веселье вокруг елки. Запомнились же на всю жизнь именно эти минуты тишины где-нибудь в глубине кресла, где мы удобно располагались вдвоем, когда свечи на елке уже начинают понемногу гаснуть, остается их десять—двенадцать, потом наконец каких-нибудь две-три. Темнота комнаты надвигается ближе и ближе, ползет изо всех углов; заметнее свет лампадки в углу перед божницей; разогретая огнями елка пахнет сильнее. Все кругом становится таинственней: лапы елки принимают формы рук каких-то мохнатых призраков или зверей, на которых поблескивает золотая чешуя. Становится немного жутко, хочется бежать из темной комнаты, но страшно спустить ноги на пол. Радуешься лампе, которую вносит тетка, хоть и встречаешь спасительный свет с разочаро-

ванием: колдовство пропадает, все становится простым, обычным, но почему-то не милым, почти враждебным.

Елка стоит у нас долго, до самого крещения, когда зажигается последний раз. В первый же вечер мы сидим за елкой и сквозь ее ветки слушаем, как тетка потчует гостей вареньем. Она выставила сортов семь. Варка варенья — ее специальность, и она это делает, как и все соления и печения, прекрасно, но из кокетства рекомендует его гостям так: «Это засахарено, это прокисло, это гадость, а это я терпеть не могу!» Вазочки с вареньем расставлены рядком по вышитой дорожке, постланной через весь стол посередине. Отсюда нам не видно, но мы знаем, что на ней по бортику вышит крестиком «цирк обезьян»: мартышка на лестницах, на трапециях, на верблюдах, обезьяна-жонглер, обезьяна на канате, много еще всяких сцен, которые мы разглядывали всегда с одинаковым интересом. А когда нянька гладит белье и берется за эту дорожку, мы всегда требуем, чтобы она звала нас посмотреть, как изображения всех этих фигурок оттискиваются под утюгом в обратную сторону на простыне, которой покрыта гладильная доска.

Гости не верят тетке, смеются и без страха накладывают себе, сколько хотят, и «засахаренного» и «прокисшего».

Нас тоже наконец зовут пить чай и даже для торжественного дня сажают за общий стол, но варенья дают по одному блюдечку, в котором все ягодки пересчитаны, чтобы оба получали поровну и не было бы обид.

Домашние

Тетка Марья Константиновна считалась двоюродной сестрой отца. На самом деле она была женой его троюродного брата. Родство не близкое! Однако никто не оспаривал ее права называться в нашей семье теткой и именно «теткой», а не тетей и не тетушкой, и быть нам, детям, да и всему нашему дому, роднее родного.

На этом «самозванство» тетки еще не кончалось: она вовсе не была Марьей Константиновной: по-настоящему она называлась Татьяной Никитичной. Когда она ехала со своим мужем от венца в карете, он сказал ей: «Твое имя — Татьяна Никитична — мне не нравится, будь отныне Марьей Константиновной». И эта кроткая душа отказалась от своего крещеного имени, подчинившись капризу мужа, как подчинялась всему, что становилось потом ей на дороге. Новое имя пристало к ней прочно, и только самые близкие друзья, которых она звала на пирог в январе на Татьянин день, знали ее настоящее имя. Даже отец, когда в шутку препирался с ней, называл ее «Машка-дура».

Когда отца перевели по службе из Новочеркасска (где я родился) в Москву, тетка поселилась у нас: ее мужа к тому времени отвезли в больницу, где он еще много лет пролежал в прогрессивном параличе, и оказалось так, что ей негде было приклонить голову.

Впрочем, и у нас дома она тоже не «приклоняла головы» и не «покладала рук» — выражения, которые в детстве мне всегда казались загадочными.

Мама была неопытной, а что касается кухни — и вовсе неумелой хозяйкой. Пришлось тетке взять в свои руки бразды кухонного правления.

Здесь она была настоящим мастером своего дела. Особенно великолепно она делала всякое тесто. В особенности же — куличи! Таких я больше никогда не ел с самого детства. И хоть в них она не клала никаких духов — ни муската, ни кардамона, считая, что они должны иметь

«свой собственный дух»,— этот их чудесный «дух» витает около моего носа и сегодня.

Апрель 1942 года. Почти ежедневный артиллерийский обстрел города. А когда его нет, бьют неистово «звенитки», как их называли павловские бабы. Значит, летят немцы. Это весенняя новость: зимой немцы не летали. Стоят ясные, хоть и свежие дни. Город прибрали, на Невском сухо. Временно прервана эвакуация, которая до начала апреля шла усиленным темпом. Народу уехало очень много. Пятнадцатого пошли по некоторым линиям трамваи. С продовольствием несколько лучше.

Недели две-три тому назад в наш дом попало три снаряда. Разворочено несколько этажей, вылетели все стекла в доме. Мы почти неделю сидели в темноте: окна были занавешены коврами и чем попало. Наконец нашли стекла и мальчишку с алмазом. Теперь опять к нам в окна светит солнце.

Отец на службе, в «банке с вареньем» — по нашему детскому несложному остроумию. Мы с сестрой возимся на ковре в детской. А мама сидит у окна в той же комнате за своим рабочим столиком и что-то шьет кому-нибудь из нас — ее постоянное утреннее занятие.

Иногда, когда мы очень пристанем, а мама не слишком торопится с шитьем, нам разрешается заглянуть в ящик стола и рассмотреть, не прикасаясь руками ни к чему, все то, что там находится.

А там — чего-чего только нет! Все в величайшем порядке разложено по маленьким отделениям, на которые поделен весь ящик. В переднем среднем отделении — откидная бархатная подушечка для булавок. В других — катушки с нитками всяких цветов, мотки цветного шелка, пуговицы, масса разных пуговиц: отдельно большие для ватерпуфов, беленькие всех размеров для белья и наконец самые интересные — пуговки для платьев: и плоские, и круглые, и длинненькие вроде палочек, и стеклянные, похожие на жемчужины, и серебряные, и красные, как коралл, и даже такие, в которых вставлены цветные камушки.

Среди этих пуговок мы узнавали те, которые уже побывали на Сониных платьицах или моих рубашках и спороты потому, что эти платья и рубашки, сшитые из маминых туалетов, пришли в ветхость, так как прожили по два века. В длинненьком отделении — спицы и крючки для вязания, а в самом большом — разные ленты, среди которых потом, через много лет, когда я стал в этом немного разбираться, нашлись чудесные старинные, с пестрой каймой или вышивками.

Под столом снизу был еще ящик в виде корытца, который выдвигался на невидимых пазах. Там хранились всякие лоскуты, шерстяные и шелковые, но покопаться там не удавалось: маме становилось скучно, как мне писать о всех этих мелочах подробно, а вам читать.

Входит тетка. Она пришла из кухни посоветоваться с мамой о каком-нибудь блюде к завтраку или обеду. На минутку, пока не захлопнулась за ней дверь из кухни, мы слышим — что-то шипит на плите и старуха кухарка, добротная грязнуха Дарья, уговаривает кого-то «пропасть пропадом».

Прислушиваясь к теткиным разговорам с мамой, мы узнаем иногда не совсем понятные нам соседские новости. Иногда обсуждается поведение отца, который сидит сейчас в своей «банке» и не подозревает, что его поступки не только обсуждаются, но иногда и осуждаются. Взрослые не стесняются присутствием детей, думая, что взрослый смысл речей нам, детям, непонятен. Мы и не понимаем всего, улавливаем только тон осуждения, а что не поймем, дополняем собственным домыслом. Выходит что-то таинственное, часто трагически многозначительное.

Потом, когда я стану повзрослее, меня эти домыслы станут сильно мучить; мне все будет мерещиться какая-то скрытая драма, какая-то назревающая семейная катастрофа.

Говорят, противоположности сходятся. Не знаю, были ли дружны мама с теткой,— этого мой детский ум не искал, да и не умел постигнуть, как и характеры мамы и тетки. Это результат позднейших наблюдений и размышлений.

Мягкая душа тетки, не зажатая никаким воспитанием, отзывалась на все легко и непосредственно. Сама всегда поступавшая «по наитию» чувств, она и в других не осуждала никаких страстей. Они ее пугали — кроткую женщину,— но влекли к себе, как все романтическое. Она обожала театр и преклонялась перед артистами, не умела отнестись критически ни к чему, что вычитывала в книгах, и всегда поддавалась на всякие мистификации отца, простодушно веря всему.

Браня нас за какую-нибудь провинность, она вдруг начинала смеяться и бросалась нас обнимать и всегда носила тайком лакомства тому из нас, который был наказан отцом, то есть посажен в кресло в гостиной без права передвижения — впредь до полного осознания гнусности своих поступков и готовности просить прощения. Я бежал за прощением почти сейчас же. Сестра же была упряма и долгие часы, устав уже плакать, просиживала, насупившись, в кресле и не сдавалась на теткины, а иногда и мои с ней вместе увещания пойти повиниться: от тебя, мол, не убудет, а он, изверг(это отец-то!), измучивший так девочку, пусть будет доволен.

Мама же, выправленная в струнку институтским воспитанием, всегда «tirée à quatres épingles» [1], казалось, была совершенно лишена всяких страстей и порывов. И не то что ее решительно ничего не трогало: просто проявление чувств она считала ненужной аффектацией, даже ломаньем. Обнаруженные страсти она посчитала бы беспорядком и никогда не простила бы себе такого беспорядка в своей натуре, как не прощала того же и другим. Нельзя сказать, что в ее груди был кусок льда, нет: своих домашних она способна была любить и отзываться на их горести и удачи.

К чужим же мама не отличалась большой терпимостью, а при случае без всякого повода умела, казалось бы беззлобно, но очень чувствительно, уколоть человека. Я вспоминаю, как сильно был обижен за ту же тетку, когда во время всероссийской переписи (в 1897 году) мама настояла, чтобы на большом листе, где были записаны все мы, в графе о грамотности против теткиного имени было написано: «Полуграмотная». Правда, читать она читала, но писала с трудом и с ошибками, но не хуже, вероятно, меня, восьмилетнего малыша, который там же был прописан грамотным.

Мама была маленькой брюнеткой, в молодости — красивой, с большими черными глазами. До старости она сохраняла юную фигурку и живость движений. Тетка была женщина среднего роста, пепельная блондинка. Да и лицо ее, не лишенное, впрочем, миловидности, было из тех, которые кажутся постоянно смазанными жиром.

Насколько мама любила простоту и какую-то английскую четкость в туалете, не терпела лишних украшений, хоть и жила в эпоху, когда женщины, как дикарки, навертывали на себя гибель кружев, лент и аграмантов,— настолько тетка любила приукраситься и даже слегка подмазаться, чего мама и для себя не терпела, и всегда осуждала в других.

Застигнутая иной раз папой, под гнетом молчаливого, но тяже-

---

[1] Одета с иголочки *(франц.)*.

лого презрения мамы, тетка перед выходом из дому скрывалась в уборную, где при свечке и без зеркала наводила кое-как брови, причем если одна из них оказывалась почти на месте, то другая вползала на середину лба. В таком виде она стремительно выносилась на лестницу и уже за воротами умеряла ход, выступая изящно и степенно и пленяя прохожих не только своими бровями, но новомодным жакетом из фальшивого каракуля с пышными рукавами, который доходил ей только до талии. Это тоже крайне осуждалось мамой, которая считала такой костюм легкомысленным и зимой гибельным для здоровья («Долго ли получить воспаление почек?»).

В четвертом часу приходил со службы отец. Все — в особенности робкая тетка — внимательно наблюдали, в каком он настроении: от этого зависел весь распорядок нашей общей жизни на весь остальной день, а иногда и на следующее утро. Если он плохо настроен, что обнаруживалось некоторыми признаками и без слов (чмыханье носом, подергивание плечом), все притихали, а мы с сестрой совсем забивались в мышиные норки, уверенные, что кому-нибудь из нас уж сидеть в кресле за какую-нибудь провинность за обедом (в такие дни сидеть за столом было чистое мученье). Чаще всего это случалось со мной. Я не был, правда, козлом отпущения в семье, но не был и любимчиком.

Трепет перед отцом распределялся среди домочадцев, так сказать, по степеням, по нисходящей линии. Меньше всех считалась с его настроением мама. А вот как-то кухарка, я помню, вошедшая с миской супа в столовую в один из таких тяжелых дней, от одного взгляда отца заметалась по комнате, вдруг поставила миску на ближайший к двери стул и скрылась в кухню. Отец не был злым человеком, просто он был вспыльчив и не умел сдерживаться. Да и не находил это совместимым со своим мужским достоинством и положением в семье. Он мужчина и глава — все должны не только подчиняться его предначертаниям, но и считаться с его настроением, причем считаться деятельно, то есть ходить на цыпочках, с вытянутыми лицами и говорить шепотом, когда он чем-нибудь расстроен, и горе тому, кто попробует развеселиться!

Такие мрачные дни бывали не часто: обычно в нашей семье преобладало тихое, мирное настроение. После вечернего чая можно было без страха посидеть у отца на коленях — я на одном, сестра на другом,— послушать его рассказы или самим поделиться с ним дневными впечатлениями, которые мы рассказывали оба сразу, наперебой и, чтобы завладеть вниманием отца, тянули его за бороду каждый в свою сторону. В отцовском столе находились на такой случай шоколадные лепешечки, которых нам давалось по три: одна в рот и две на ладошки.

В такие вечера мы особенно долго торговались, прежде чем идти спать. Но после шоколадок отправлялись в детскую уже беспрекословно.

Бабушка

Я помянул сейчас, что не был любимчиком в семье. Да, с этим мне не повезло: я был любимчиком бабушки, а это оказалось не большой удачей.

Бабушка приехала в Новочеркасск, чтобы помочь невестке управиться с рождением первенца, чтобы научить неопытную мою мать уходу за младенцем. Не знаю, долго ли она прожила там с нами, но мне кажется, она уже тогда не ужилась с моей мамой.

Мне было два года, когда мы приехали в Москву, так что не скоро еще открылись мои глаза на то, что меня окружало. Когда же я научился приглядываться к людским отношениям, которые меня волновали уже

очень рано, я с грустью заметил, что между бабушкой и мамой нет настоящего ладу.

Бабушка бывала у нас не часто, как и мы у нее, что одинаково огорчало и меня и сестру. Мы любили ее за веселый характер, за остроумие, за живость мысли, за ее рассказы о прошлом.

А в прошлом-то ее как раз мало было такого, что помогло бы ей сохранить все эти качества. Вот как в общих чертах сложилась ее жизнь.

Замуж она по обычаю своего времени вышла рано — прямо из-под родительского крыла, из деревни. Отец ее тогда уже был разорившимся помещиком, но сохранял еще все обычаи и повадки польско-литовских магнатов: сохранялись и дворня, и псарня, и даже свой оркестр; гостей всегда был полон дом, и веселье не прекращалось. Бабушка, рано потерявшая мать, росла, по-видимому, без присмотра. Это я заключаю по некоторым мелким подробностям ее живых рассказов. Так, например, она научилась курить в пятнадцать лет и предавалась этому неизящному занятию тайком в девичьей (никак не могу представить себе пятнадцатилетнюю барышню ее круга с трубкой: тогда ведь не было папирос!).

Муж ее, мой дед, только что окончивший Московский университет, увез ее в Опочку, где получил место уездного лекаря. Воображаю, как она там себя почувствовала, получив в качестве приданого только свои тряпки да привычку к беспечной жизни! (К тому времени уже выяснилось, что все в ясновельможном доме принадлежит окрестным ростовщикам.)

Не успела она справиться со своими первыми впечатлениями от убогой жизни в неожиданной бедности, как ей пришлось привыкать к тревогам и лишениям походной обстановки: начались военные действия на Кавказе и мой дед был мобилизован и направлен туда.

Как-то вышло так, что молодой лекарь за два-три года, проведенных на Кавказе, нахватав всяких отличий, оказался дивизионным врачом. Но ни военная жизнь, ни карьера военного врача его не увлекали: он мечтал о научной работе в условиях мирной жизни, как это видно из оставшихся после него заметок, писанных неразборчивым мелким почерком на листках записных книжек, куда он заносил заинтересовавшие его случаи ранений, придуманные им методы оперирования в полевой обстановке и многое другое, что даже не относилось к медицине.

Судьба, однако, решила иначе: он так и не выбрался с Кавказа.

Как-то, объезжая многочисленные перевязочные пункты на позициях, он наткнулся на чеченцев и чуть не попал им в лапы. Они неслись за ним на своих конях, как птицы, и совсем уже настигали его. Но вот показались наши пикеты, казаки заметили доктора и помчались ему навстречу, уже приостановились в замешательстве чеченцы, и вдруг докторский конь споткнулся и покатился вместе с седоком по камням в обрыв. Доктора подобрали разбитого, с проломленными ребрами. Он пролежал почти полтора месяца, но поправиться ему уже не было суждено.

Молодая вдова осталась с четырьмя детьми — все мальчишки — без всяких, как говорится, средств к жизни. Старших взяли на казенный счет в кадетский корпус; папу, который был вторым с конца и родился на Кавказе, увез в свое имение под Гомелем дивизионный генерал барон Нолькен, очень любивший деда (занятно, что командиром казачьей дивизии был немец), а с самым маленьким бабушка уехала в Москву и устроилась в Доме вдов и сирот медиков и фармацевтов.

Так всю жизнь, с двадцатипятилетнего до семидесятитрехлетнего возраста, она и прожила все в том же Большом Казенном переулке на Покровке, все в той же комнате на антресолях большого старого дома,

когда-то барского особняка с колоннами и фронтоном, как полагалось, стоявшего в тенистом, сыром саду.

Как я хотел прожить свою жизнь именно так: на одном месте, в одной и той же обстановке.

Конечно, я не стал бы от этого мудрецом, как Кант. Да я и не претендую на то, чтобы, как он, шагу не ступить за пределы своего насиженного места.

Я люблю путешествовать, люблю новые места, легко терплю новых людей. Но пусть эти места и люди так и остаются новыми, временными, как бы ни были милы на короткий срок! А дом пусть будет единственным местом, где можно жить в полном и самом глубоком смысле этого слова. И если этот дом случайно окажется прекраснейшим местом на земле — пусть так, тем лучше. Хоть это не обязательно и не нужно: он должен стать прекрасным потому, что стал мил, хоть поначалу и был ничем не замечательным и случайным, не выбранным местом, куда занесла судьба, да так и бросила.

Да, так я хотел, а получалось совсем не так. Всю жизнь я передвигаюсь с места на место. И добро бы вел жизнь настоящего цыгана, не заживаясь подолгу на одном месте и не привыкая к нему. Так нет, я успеваю обжиться, привыкаю к новому месту, успеваю с ним сродниться, когда судьба берет меня вновь за шиворот и тащит куда-то в новую обстановку.

Мои детские годы связаны с Москвой, где я прожил с двух лет до девяти. На девятом году я переезжаю с родителями в Чернигов, который на много лет становится моим родным городом, совершенно заслонив Москву, которую я теперь воскрешаю в своих воспоминаниях.

С Черниговом я расстаюсь (и навсегда как будто) двадцатипятилетним, уже окончившим высшую школу и женатым. Оказавшись в Петербурге, я сначала кочую три года с одной линии Васильевского острова на другую. И наконец с 1918 года я в Павловске. За двадцать три года, что мы там прожили, я, привыкший к провинциальной жизни в Чернигове и тяготившийся питерской суетливостью и шумом, успеваю сжиться с тихим Павловском, даже полюбить его. Наконец только тут я устроился впервые оседло, собрал библиотеку, понемногу подобрал обстановку, составленную из хороших, уже ставших любимыми вещей.

И вот опять судьба немецкими снарядами выталкивает нас с женой из Павловска, и мы на Петроградской стороне, на пятом этаже большого дома, вчетвером в небольшой комнате замужней дочери.

Так в тесноте жила когда-то и бабушка в своей небольшой комнатке на антресолях дома «Медико-фармацевтического попечительства о вдовах и сиротах врачей и фармацевтов», как он длинно назывался. Ее маленькой пенсии ей не хватало: надо было кормить и одевать себя и двух малышей.

В поисках заработка она не гнушалась никаким трудом и как-то напала на счастливую мысль: делать коробки для аптек. Под руководством мастера, которого она пригласила за плату, в подвале соседнего дома она целый день теперь резала бумагу и картон, клеила коробки. Скоро ей стал помогать и мой отец, восьмилетний мальчишка, привезенный к ней из Гомеля. Так он проработал, как Диккенс, до самой школы, пока не поступил в Межевой институт.

Когда я маленький слышал о его работе в картонажной мастерской, я представлял себе, как он был счастлив. Как было весело клеить такие коробочки — чудесные, нарядные, пестрые, с золотыми кантиками по всем краям!

В те времена аптекарские упаковки не были так просты и скучны, как сейчас. Тогда коробочки были оклеены пестрой, цветной бумагой,

засыпанной узором из цветочков или птичек, сидящих на ветках или летящих по голубому небу. Мы с сестрой любили ходить с нянькой за лекарством в нашу ближайшую аптеку: там мы получали от провизоров в подарок такие коробочки. «Наши» провизоры — мы их поделили: мой высокий белобрысый немец, а Сонин маленький черноволосый поляк — клали в эти коробочки сюрпризы: то палочки ячменного сахара, то мятные лепешки.

Как-то шестилетним малышом я слышал случайно разговор мамы с папой, из которого заключил, что папа чем-то расстроен, а мама чем-то возмущена и жалеет бабушку. Я уже упоминал о том, что был очень чуток на такие вещи и страдал, когда среди родителей нарушалось согласие. И потому насторожился. «Помилуй,— говорила мама,— куда ей столько? Ведь она имеет даровую квартиру с отоплением и освещением». Мне показалось чем-то особенно замечательным иметь в квартире еще «отопление и освещение».

Следующий раз, когда я был у бабушки, я стал присматриваться, не замечу ли чего похожего на «отопление и освещение», не подозревая, что стоявшая на столе перед диваном на гарусном поддоне лампа с белым колпаком как раз была «освещением», а кафельная печь у входной двери — «отоплением». Печь эта, впрочем, всегда привлекала мое особое внимание: она не была похожа на обычные печки. Она стояла на чугунных фасонистых ножках, несколько отступая от стены, и была похожа на огромный кувшин без ручки. Сходство дополнялось еще чугунной решетчатой верхушкой, похожей на крышку. А на чугунной дверце были выпуклые голенькие мальчики, летавшие в воздухе и тянувшие за собой какое-то длинное полотенце.

Мы с сестрой очень любили бывать у бабушки. Это случалось иногда в какое-нибудь воскресенье. Брали извозчика и выезжали с таким расчетом, чтобы быть у бабушки к часу дня, когда она пила кофе. Зимой, если извозчик оказывался благодушно настроен, мне удавалось пристроиться рядом с ним на облучке саней. Для этого он «выпрастывал», по любимому выражению Л. Толстого, одну ногу из саней, а папа держал меня сзади за кушак. Какое это было счастье! От четырех лет до шести я как раз мечтал быть кучером и никем другим; так и требовал, чтобы меня звали не Володя, а кучер. И вот это почти сбывалось. Я сидел на козлах и видел огромную лошадь перед собой.

Меня обдавало запахом навоза, пахло еще ремнями и дегтем, луком и водкой. Последним запахом как раз объяснялось праздничное благодушие извозчика.

По дороге мы делали остановку у Мясницких ворот, папа выходил из саней и покупал у Севостьянова целый кулек сдобных крендельков к кофе.

На бабушкины антресоли вела отдельная лестница со двора. Уже с половины ее нас охватывал какой-то особенный, только бабушкиному дому присущий, очень сложный запах.

Так пахнет старая шкатулка, пахнет и само дерево ее, и то, что в ней хранится — какие-нибудь платочки и кружева,— и все то, что в ней когда-то лежало, тоже оставило там свои запахи. На дне такой шкатулки лежит всегда саше со старыми, наполовину выдохшимися духами.

На дне запаха бабушкиного дома тоже был такой аромат старинных забытых духов. Он подновлялся по воскресеньям, когда какая-нибудь вдова или сирота, отправляясь в гости или к обедне, доставала из комода старинное шелковое платье, в слежавшихся складках которого сохранялись запахи старых духов.

Но надо всем царил по воскресеньям запах только что смолотого кофе: старухи пили кофе! И, как настоящие, тонкие знатоки, размалы-

вали его только на одну заварку. У каждой из них был свой рецепт приготовления кофе: каждая смешивала несколько сортов его в разных пропорциях и считала другие смеси для себя оскорблением, а для кофе поруганием. И если бы сам честный француз Реттере, который продавал кофе в своих магазинах по всей Москве, случайно (что совершенно невероятно) намешал для такой старухи «явского», «цейлонского» и «мокко» не в тех пропорциях, как надо, она сейчас же обнаружила бы это по первой заварке. А споры, которые возникали между ними по поводу этих рецептов, доходили до ссор и разрывов между самыми близкими друзьями.

К аромату кофе, который покрывал почти все запахи, примешивался еще запах не вполне прогоревших в самоваре углей, который я назвал бы вульгарно угаром, если бы этот запах не напоминал мне церковь: стоило бы к нему прибавить чуть ладана — и я чувствовал бы себя в торжественной церковной обстановке.

Но и без такого добавления «бабушкин запах» настраивал меня всегда на особый, приподнятый лад. А если вспомнить волнующее путешествие на козлах, которое предшествовало «кофе у бабушки»,— понятно, почему я бывал так взволнован, когда входил к ней в комнату.

Мы, дети, раздевались (или нас раздевали) на пороге, складывая свои шубки на кушетку карельской березы необычной формы, стоящую у входной двери. Этот небольшой диванчик не имел ни спинки, ни локотников, а только с одного конца его было отогнутое изголовье.

Бабушка встречала нас всегда ласково, и сразу чувствовалось, что она не только любит нас и потому такая милая, но с ней всегда легко, уютно и весело — такая уж она была! Такими были ее лучистые, когда-то, вероятно, голубые, теперь светло-серые глаза, в глубине которых теплился огонек юмора (но не злой насмешки), такой была и ее комната: уютная, приветливая, где все так складно устроилось и нашло свое место, что, казалось, бабушкины немудрячие старенькие вещи — комод, кресла и диван — чувствуют себя на своих местах хорошо и уютно и хотят стоять так век вечный.

Когда подавался на стол кофейник и небольшой самовар красной меди, отец, если мы очень приставали, рассказывал нам в сотый раз давно знакомую историю о том, как жеребенок лягнул этот самовар. Это произошло в то время, когда отец управлял огромным имением деда на Дону. Дверь из его летнего помещения открывалась прямо во двор, а пол был наравне с землей; к нему в комнату иногда приходила «к чаю» его верховая лошадь Машка со своим жеребенком. Жеребенок, с детским любопытством обнюхивая и осматривая все кругом, как-то запустил морду в жестянку, где хранился мелкий сахар. Не понравилось ли ему что, или так случайно, но только жеребенок фыркнул, сахарный песок тучей поднялся ему в глаза, жеребенок испугался и выскочил из комнаты, подпрыгнув и брыкнув задними ногами. Вот тут-то и пришелся удар его копытца по самовару, который стоял на табурете.

Эта история приобретала особый интерес в присутствии живого свидетеля — самовара с продавленным боком. Вмятину эту мы тут же неизменно рассматривали, хоть видали ее уже много раз.

Дома кофе нам давали только ради какого-нибудь торжества; обычно же полагалось молоко или толокно. Но нашему домашнему кофе было далеко до бабушкиного: прежде всего у бабушки подавались к кофе сливки, которых дома никогда не бывало, а затем — вместо простых булочек — здесь были крендели, которые мы привозили с собой, те самые сдобные крендели, посыпанные сахарной пудрой или облитые глазурью, которые стоили по три копейки, а если покупать их два, то пятачок пара.

На наши голоса к бабушке заглядывали ее соседки. Первой приходила Луиза Федоровна. Это была крупная когда-то старуха, теперь немного согнувшаяся и как-то всем телом осевшая вниз. Если представить себе постаревшую и сильно растолстевшую валькирию, то это была как раз она.

Двигалась она всегда стремительно, врываясь, а не входя в дверь, несмотря на то, что пыхтела и задыхалась на ходу. Ни в каком кресле она поместиться не могла: так бы и застряла навсегда между ручками, если бы ей удалось в него вклиниться. А когда садилась на стул, то вся свисала с него, как тесто. Придя к бабушке, она сразу занимала диван, и уж с ней рядом могла примоститься разве только другая бабушкина соседка, Глафира Николаевна.

Насколько первая была толста, настолько вторая худа; насколько первая была непосредственна и проста, настолько вторая — сдержанна в проявлении своих чувств и жеманна. Луиза Федоровна всегда была в широкой темной юбке со сборками кругом и в длинной светлой кофте без пояса. Ходила простоволосая, подобрав седые, серо-желтые остатки волос кверху и завязав на самой макушке узелком величиной с орех, который, вероятно, надо было считать шиньоном. Глафира же Николаевна имела строгий, почти официальный вид в своем черном платье с белым воротничком или жабо, приколотым брошью, и манжетами; на голове она всегда носила кружевную наколку.

В комнате у Глафиры Николаевны было много интересного: картинки на стенах, среди которых были шитые шелками и бисером, вазочки и чашки с картинками в шкафчике за стеклами, всякие тарелочки и корзинки на столиках и много разных очень тонких и сложных образчиков женских рукоделий вроде гарусной круглой подставки с венком по борту, который своими цветами, листиками и усиками — все из разноцветного гаруса — закрывал ножку лампы; на стекло ее сверху был надет колпачок, тоже гарусный и тоже весь из цветочков, листьев и травок. Но самым замечательным был ковер, висевший на стене над кроватью. На нем в широкой цветной рамке, шитой шерстью, по черному суконному полю была вышита также цветной шерстью огромная собака, лежащая на желтом песке дорожки, среди кустиков травы. Это был сенбернар, изображенный в натуральную величину, если не больше. Собака была как живая: пасть оскалена, из нее висит розовый язык, и счастье еще, что она смотрит куда-то вдаль. Если б ее глаза были повернуты к нам, мы с сестрой всерьез боялись бы этой собаки.

Иногда Глафира Николаевна открывала шифоньер или шкафчик и вынимала оттуда что-нибудь особенно любопытное — какую-нибудь старую-старую книжку с картинками, которую мы разглядывали с величайшим интересом. Но чаще всего из глубины ящика извлекались мятные пряники в виде рыбы или коня. Мы по старому опыту знали, насколько съедобны эти подарочные пряники: мята из них давно выдохлась, уступив место камфаре, а если их раскусить, они рассыпались во рту колючими крошками.

У Луизы Федоровны в комнате не было никаких чудес. Это была спартанская обитель, уставленная только самым необходимым. Все кресла и диван были безнадежно продавлены и продраны, однако и здесь, как у Глафиры Николаевны и у бабушки, царили полный порядок и чистота и продавленная мебель была застлана чистыми, хоть и не расшитыми, как у Глафиры Николаевны, салфеточками. Чего здесь было много — это цветов. Правда, и они носили какой-то мятежный характер. Это были главным образом алоэ и кактусы, которые своими уродскими листьями торчали с окон самым причудливым образом. Единственным украшением на стене была большая темная гравюра на какой-то биб-

лейский сюжет в узенькой черной рамке, которая висела несколько криво, как будто только что прилетела на стену, гонимая каким-нибудь вихрем.

Несмотря на то, что у Луизы Федоровны нечего было рассматривать и не дарила она нам ничего, мы с сестрой любили приходить к ней в комнату. Она не рассказывала нам сказок, а говорила о чем-нибудь самом житейском — о событиях на улице, которые ей передавали другие; сама она из-за своей тучности не выходила из дома. Но рассказывала все это со своим немецким акцентом с такой страстностью, или с таким теплом, или с таким возмущением, что глубоко захватывала нас своими рассказами, которые без этих преувеличений совсем бы нам были непонятны. У нее все плохое всегда выходило страшно отвратительным, все злое — чудовищным, все доброе — до слез трогательным, а все хорошее — ангельски прекрасным.

Я много порассказал о соседках бабушки, а о ней-то самой не сказал еще почти ничего.

Когда-то стройная, высокая, она теперь была согнута в пояснице какою-то болезнью почек. Год от году ее все больше и больше перегибало пополам, она становилась все меньше и ниже и последнее время уже ходила, опираясь на зонтик, который потому и брала с собой во всякую погоду. Носила она его не по-обычному, а вверх ногами, чему мы с сестрой очень удивлялись. Потом только я узнал, что в старину зонтики открывались в обратную сторону, так что ручка была внизу и, раскрывая его, не надо было перевертывать нижним концом вверх, как это теперь делается, а только поднять и взять рукой за нижний конец.

Еще много лет в этих записках я буду встречаться с бабушкой. Последние же мои московские воспоминания, где я вижу ее, связаны с пасхой, с пасхальным утром.

Бабушка обычно приезжала к нам с вечера, после «своей» заутрени, которая в костеле кончалась раньше. Позже возвращались из церкви папа с мамой, и они разговлялись вместе.

Мы ничего не слышали — мы крепко спали. Просыпались же мы в это утро «ни свет ни заря», как говорила тетка, и в шесть часов уже вставали. Солнце едва подымалось, розовели оконные рамы, и на стены падал розоватый отблеск. Хоть мы и не читали чеховского письма к ученому соседу, но нам тоже казалось, что никогда в другие дни по утрам не бывает так радостно в воздухе, так светло в небе! В другие-то дни мы рассветов не видели, никогда не вставая так рано.

Если уж говорить начистоту, нас подгоняло не столько желание поскорее увидеть бабушку, сколько посмотреть, какие подарки положены на стульях у наших кроватей. Это были, конечно, яйца — коробки в форме яиц. Раз как-то в таком огромном картонном яйце я нашел целый поезд, обложенный по краям шоколадками, в другой — лошадь с тележкой и всей запряжкой, очень тщательно сделанной. А сейчас из красного деревянного яйца вынул коробку с большим набором цветных карандашей, о которых давно мечтал.

Полюбовавшись на подарки, мы с незастегнутыми пуговицами на башмаках и на лифчиках сзади, без верхнего платья шли к бабушке, задержавшись только в столовой, чтобы обозреть пасхальный стол. На разукрашенном столе красовались куличи разных форм с большими-большими посередине, бутылки двумя группами справа и слева и огромное блюдо крашеных яиц. Не было только пасхи и окороков ветчины: они были вынесены на холод. Фаршированный поросенок, вероятно, тоже. Мы смотрели на него всегда немножко с ужасом и никогда не решались его попробовать. Как его ни украшала тетка всякими хитрыми разводами из натертого масла, стоило посмотреть на его плотно

зажмуренные глазки со слипшимися ресницами — и видишь: лежит несчастный детский трупик свинки! Такова уж человеческая натура: ветчину ешь без размышлений, хоть режут ее от целой ноги, а целая тушка на столе, с глазками и ушками, как-то смущает.

Бабушка спала на диване в папином кабинете, он же на этот раз и гостиная. Комнаты в нашей квартире несколько раз меняли свое назначение, только наша детская всегда была детской.

Бабушка уже вставала, когда мы входили. Как все старики, она мало спала и как раз причесывалась. Все волосы были спущены вперед и висели длинными темными прядями, скрывая лицо. Потом она проводила вдоль по голове гребнем, разделяя пробор, и вот-вот должна была выглянуть из волос. Вот тут-то становилось немного страшно. По-игрушечному страшно, а все-таки страшно. Потому что это была такая игра: неизвестно, кто появится, когда пряди волос раздвинутся,— бабушкино ли доброе лицо, или страшный-страшный волк, который зарычит и бросится на нас.

Потом бабушка застегивала нам все пуговицы, до которых мы не могли добраться, и умывала нас. Мы старались не шуметь: покой родителей всегда свято оберегался.

На даче

Всякий раз, как я вызываю в своем воспоминании Москву своего раннего детства, я вижу ее весною. Потому, может быть, что зиму я не люблю, боюсь ее холодов, от которых всегда страдаю, особенно после жизни в Чернигове, где все-таки легче переносится зимняя пора. Зима там если не очень много теплее, то хоть короче. Осень я как-то не считаю, не чувствую этого времени года: теплые дни «бабьего лета», в сущности, последние дни лета, а осенние холода, непогода и слякоть — это уже начало зимы. Лето же мы не жили в городе, и летней Москвы я не помню. Остается весна. Ее в Москве открывали дворники — криками и скребками. Этот первый весенний звук — звук скребков по асфальту тротуаров — так и стоит в моих ушах! Я вижу слоеные пласты слежавшегося снега, которые скалывают с тротуаров. И надо всем этим уличным оживлением, по-весеннему уже шумным и радостным, по-весеннему сверкает и уже греет солнце. Еще день-два — и по канавкам вдоль тротуаров побежали ручейки. Я мастерю лодочки — из бумаги, картона, дерева, что подвернется,— и пускаю их в эти быстрые потоки. Они плывут, кивая носами, по волнам, застревая на момент вместе со щепками, потом, покрутившись на одном месте, бегут дальше. И я бегу за ними. Но меня ловит за рукав нянька, и я теряю их из виду.

Эти лодки — начало моего увлечения мореходством. Много еще потом я построил кораблей всяких типов и пускал их в бочках и ваннах, проверяя их мореходные качества.

Пригревает солнце, и мы пристаем к маме: «Когда мы снимем шубы? Когда ты достанешь нам осенние пальто?» Наконец наступал и этот желанный день. Он совпадал с генеральной уборкой в доме. Вся квартира выворачивалась наизнанку. Относилась во двор мебель, развешивались на веревке ковры и шубы. Все это выбивалось, чистилось. Смешно было смотреть на диваны и стулья, которые так непривычно стояли среди зеленой травы на большом дворе. Еще забавнее было рассесться на них, как в гостиной, и вести по-нарочному светский разговор во дворе, под открытым небом.

Нас загоняли домой, стулья водворялись на место в гостиную. А шубы укладывались в большой сундук и пересыпались камфарой. Замок

у этого сундука был с музыкой: «дрын-дрын-дрын» — звенели пружины, когда мама поворачивала в замке большой фасонистый ключ. Вору не открыть такой сундук потихоньку!

С этого дня официально начиналась весна в нашем доме. А там скоро наступало и лето.

Два года подряд мы жили летом в Останкине. Очень мало осталось в моей памяти от этой дачной жизни — кое-какие отрывки. Хоть я и уверен, что и сейчас найду дорогу от пруда и церкви к нашей даче.

К нам приезжало много гостей: и знакомых и родных было в Москве достаточно. Живала и бабушка по нескольку дней. Всякий что-нибудь привозил нам, детям, какие-нибудь гостинцы или игрушки, так что у нас с сестрой появилась манера «смотреть всем в руки», как это называла мама, объявляя войну такой дурной привычке.

Но, право же, трудно удержаться и не пощупать пакет, который гость положил на столик под зеркалом в передней, пока раздевался и здоровался с родителями.

Должен признаться, что сестра в таких случаях проявляла меньше нетерпения. Это объяснялось, правда, не только большей ее скромностью. Дело в том, что если я в своих подарках находил некоторое разнообразие — то лошадку, то барабан, то мячик,— то ей положительно не везло в этом отношении: это лето все, как сговорились, дарили ей только куклы. И когда ее крестная мать Марья Васильевна привезла как-то чудесную парижскую куклу, но уже третью чуть не за один только этот день, у бедной девочки опустились руки, кукла хлопнулась носом на пол и разбила свое прекрасное парижское личико. Марья Васильевна, слегка скривившись, стала утешать плачущую сестру — и нашла чем! — пообещала в следующий раз привезти другую куклу, небьющуюся.

Этот следующий раз наступил довольно скоро, и Марья Васильевна не забыла своего обещания. Когда мы с сестрой раскрыли коробку и раздвинули бумажное кружево, которым были оклеены ее края, то увидели прелестную нарядную куколку с шелковистыми каштановыми кудрями, в соломенной шляпе и розовом платьице. «Вот эту уж ты не разобьешь!» — сказала Сонина крестная.

«Лежит, как мертвец в своем гробу»,— решил я. Это и определило ее судьбу: решено было устроить ее похороны. Сейчас же было сделано облачение из газеты, я его напялил на себя, превратившись в священника, и траурная процессия двинулась на кладбище. Как это все совершается, мы уже знали: совсем недавно у нас умер десятимесячный братец.

В саду возвышалась большая куча песку, нарочно привезенного для наших игр. В этой куче мы делали пещеры, туннели, строили из песка крепости, делали пирожки — все, что полагается. Тут-то и нашлась могила для куклы.

На вершине песочного холма мы вырыли ямку и опустили туда со всякими церемониями картонную коробку с куклой.

Только что мы засыпали куклину могилку и начали уже украшать ее веточками сирени и акации, как нас позвали завтракать.

Потом пошел дождь, и до обеда нам не пришлось выйти в сад.

И только когда за обедом Марья Васильевна спросила, как поживает кукла, мы о ней вспомнили, переглянулись с беспокойством и сейчас же из-за стола побежали в сад к нашей куче.

Какая печальная картина представилась нашим глазам, когда мы раскрыли «гробик»!

Если бы мы знали, что делается дальше с умершими, когда их по-

хоронят, мы решили бы, что кукла начала разлагаться — все, значит, в порядке, все идет, как надо.

Дети ведь большие реалисты. Только их реализм подлинный: он хорошо уживается с самой буйной фантазией.

Красная подкладка куклиной соломенной шляпы полиняла и потекла ей на лицо, с которого оказались смыты не только глаза и рот, но и самый цвет лица, оставивший местами коричневатую мастику. А в каком состоянии оказалось ее нарядное платьице с поясом из красной ленты!

И вот в таком виде мы ее и представили не без злорадства Марье Васильевне.

Та не могла не рассмеяться. «Доконали-таки и эту!» — сказала она.

...Начало мая. В апреле несколько теплых дней — и опять холода. По утрам лежит снег на крышах.

Ночью — отдаленная канонада.

Вспышки неслышных выстрелов.

В разное время дня — то по утрам, то к вечеру — артиллерийский обстрел города, иногда очень ожесточенный. Или налеты. Тогда — грохот зениток.

Страшно жить. Не потому, что страшно умереть каждую минуту. А сама жизнь невыносима, невозможна...

Крестная мать

По вечерам наши родители редко сидели дома. Отдохнув после обеда — московский обычай, который у нас свято соблюдался во все времена,— начинали собираться в гости и уже не пили дома чай.

В Москве тогда ходили в гости не так поздно, как это было принято в Петербурге, обычаи которого вообще осуждались москвичами.

Москвичи и ходили в гости пораньше, по-провинциальному, и возвращались не поздно: засиживаться до полуночи было не принято. Случалось, что мы с сестрой еще не ложились спать, когда мама с папой уже приезжали домой.

Мы сторожили эти моменты и выскакивали на звонок в переднюю, выскальзывая из теткиных рук: дверь-то на лестницу открывается, дети могут простудиться!

У меня был особый интерес: я всегда спрашивал, какие там, «в гостях», были обои. А когда родители шли куда-нибудь в первый раз, всегда просил хорошенько рассмотреть и запомнить, какого там цвета обои и какой на них рисунок. Почему это меня так интересовало? Обнаруживалось ли так рано мое будущее «призвание»?

Кроме этого моего, так сказать, идеального интереса, самые низменные, корыстные побуждения заставляли нас так ждать родителей: частенько они привозили нам из гостей по московскому обычаю какой-нибудь гостинец. Моя крестная мать, так та уж всегда пришлет чего-нибудь: то мешочек грецких орехов, которые сама очень любила, то пряничков. А у нее как раз родители бывали чаще, чем у других знакомых. У нее был абонемент в Итальянскую оперу, и в дни спектаклей она приглашала папу и маму к себе в ложу.

В таких случаях, то есть собираясь в театр, мама вместо своих обычных драгоценностей (любимой броши — золотой палочки с тремя рубинами,— колец) доставала что-нибудь попараднее и открывала сундучок, в котором хранились у нее среди всяких безделушек и разные ценности.

Мы, конечно, уже тут как тут: стремимся запустить туда и наши носы.

Больших драгоценностей он не заключал, этот зеленый сундучок, окованный железом. Но там, помимо всяких сувениров вроде бисерных кисетов и кошелечков, записных книжечек с вышитыми шелками крышками, было и несколько замечательных по форме и по работе ювелирных вещиц. Я помню очень затейные серьги с подвесками — такие большие и тяжелые, что совершенно нельзя себе представить уши, которые могли их выдержать. Из них особенно хороши были скрученные из золотых, очень сложных завитков с голубой эмалью и другие — с веточками красного коралла, продетыми в очень хитро переплетенные ленты. Их красоту и затейливость я оценил потом, когда стал понимать уже кое-что в таких вещах: сундучок разбирался при мне и много раз позднее, и я все с новым и новым интересом рассматривал все эти старинные вещицы.

А тогда нас, малышей, занимали больше рисуночки маминых институтских подруг в записных книжечках и такие вещицы, как золотой рожочек, из которого маму маленькую поили молочком тогда еще, когда не было резиновых сосок.

Старинных мелочей и безделушек, наследие дедов и бабок, разбросано было по нашей квартире достаточно: шитые шелками и гарусом подушки на диванах, такие же коврики, бисерные картинки на стенах, шитые бисером коробки и футляры для стаканов. Среди всего этого старья больше всего меня привлекали всегда огромная пенковая трубка с длинным бисерным чубуком и серебряный кубок с портретом польского короля Сигизмунда III, по семейному преданию принадлежавший далекому предку, украинскому гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Этот кубок стоял всегда полный папирос или сигар на отцовском письменном столе.

Потом, в студенческие годы, живя в Москве, я побывал у своей крестной матери, не сразу, надо признаться, к ней собравшись, хоть родители и взяли с меня слово, что я навещу ее сейчас же по приезде в Москву. И понял, чем она так привлекала всех к себе, и сам с тех пор стал бывать у нее еженедельно.

Это была в полном смысле этого слова мудрая старуха. Величайшее наслаждение было слушать ее рассказы о прошлом, о себе, о людях, с которыми она встречалась, о людских отношениях.

Никого из этих людей я не знал, судьбы их были мне безразличны, да и события, о которых она рассказывала, были вовсе незначительны — обыкновенные житейские маленькие драмы и комедии — и в передаче кого другого были бы вовсе незамечательны: она ведь жила в тихое, «неинтересное» время. Вся сила ее рассказа была не только в живости изложения, хотя в этом она не имела соперников, по крайней мере на моей юной памяти. Вся прелесть, вся суть была в тех мыслях, которые все проникали, и в «лирических отступлениях», которыми она пересыпала свои рассказы. Так что всякий самый пустяковый пустяк оказывался значительным.

Она рассказывала, например, как горела ее дача в Богородском, под Москвой. Дача, которую она строила с такой любовью, так заботилась о том, чтобы толстые бревна, которые она подобрала одно к одному, были уложены прочно, укутанные толем с дегтем, чтобы век простояла дача. И вот она уже исчезла в огне!

Кругом думали, что моя крестная, сидящая на скамейке и в каком-то оцепенении смотрящая в огонь, сражена потерей и как тугая на расходы, скупая старуха, какой она слыла, перевела ее уже на деньги и теперь подсчитывает мысленно потерю.

А она думала совсем о другом.

По мере того, как огромный дом — весь в резных украшениях в русском стиле семидесятых годов — уходил в этот огонь, исчезая в нем вместе с огромным периодом ее жизни, из этого же огня выступали образы многих и многих людей, живших у нее на этой даче. И вот, казалось ей, огонь стал освещать этих людей по-новому — и людей, и их отношения друг к другу и к ней, Марии Харлампиевне, хозяйке этой дачи, куда они приезжали погостить, составляя иногда общество десятка в два людей. Так, воспоминание о пожаре, случайно возникшее в нашем с ней разговоре, стало поводом, чтобы в ее живом рассказе развернулась на целый вечер целая галерея лиц.

В студенческие годы я бывал у Марии Харлампиевны всегда по субботам. В этот день у нас в училище живописи не бывало рисунка по вечерам и я мог забраться к старухе пораньше.

Пообедав наскоро в своей столовой, я ехал к ней в Грузины. Она жила там в доме какого-то благотворительного общества или какой-то общины. Раздав свои капиталы наследникам еще при жизни («Чтобы не портили мне и себе кровь ожиданием моей смерти»,— говорила она), Мария Харлампиевна положила какой-то небольшой капитал в общину, за что получила пожизненно помещение из двух комнат для себя и комнаты для своей кухарки, с которой не могла расстаться не столько по долголетней привычке, сколько потому, что та волею судеб была матерью ее внука.

Случилось как-то, что ее сынок, которого все вокруг называли «непутевым», вернувшись в сильном подпитии из путешествия по московским злачным местам, «увлекся» далеко не молодой, далеко не прекрасной, рябой во всю свою очень обширную подслеповатую физиономию Натальей и... забыл об этом наутро начисто. Однако дальнейшее ее поведение и все последующие события заставили его все вспомнить. Родившийся мальчик был усыновлен, но маменька его осталась на прежнем положении, в кухне, и пекла по-прежнему великолепные пироги и блины.

В эти же последние для моей крестной годы, уже в Грузинах, когда она окончательно ослепла и совершенно уже не владела ногами, Наталья развернулась вовсю.

Мария Харлампиевна оказалась в полной власти этой бабы, и если она раньше мрачно молчала, то теперь мрачно ворчала. Бессовестно обирая беспомощную старуху по мелочам и крупно, она лишала ее самого необходимого, не говоря уже о невинных прихотях вроде тех же любимых грецких орехов.

Судьба сделала эту рябую фурию мстителем за многих и многих людей, которые зависели когда-то от Марии Харлампиевны и которым эта властная старуха начертывала жизненные пути, решая за них, чем им быть, как и на что жить.

Комната, в которой я заставал свою крестную, была точной копией той, в которой она жила когда-то в своем доме на Арбате. Намеренно была воспроизведена привычная обстановка или так уж вышло случайно, не знаю. Но только она, эта спартански обставленная комната, живо переносила меня в дни детства, когда мы всей семьей бывали у крестной в ее доме в Конюшенном переулке.

Он стоит там и до сих пор, небольшой деревянный особняк с мезонином, построенный в середине прошлого, то есть XIX века, с большими цельными стеклами в окнах с круглыми верхами, окрашенный все в тот же темно-коричневый цвет по обычаю того времени, когда дома красили в «съедобные» цвета: это был шоколадный, а то бывали покрашенные в цвет «крем-брюле» или «сливочного мороженого».

Сам дом внутри был очень уютным по расположению комнат и обстановке, если бы не казался в такой мере нежилым. Парадные комнаты, куда попадали, войдя через подъезд с бочкообразным навесом, стояли всегда пустые, всегда в полумраке: шторы на окнах спущены, роскошная, стеганная голубым шелком по «новой» моде шестидесятых годов ореховая мебель в гостиной и длинные ряды стульев вдоль стен в зале — всегда в чехлах, как и люстры. В тишине, в которую эти комнаты всегда были погружены, слышны только два голоса часов: глухое, медленное и солидное «тик-так» огромных, стоящих на полу часов в зале и более живой, звонкий голос бронзовых под стеклянным колпаком на камине в столовой. Эти «тик-так», мне казалось, еще больше сгущали тишину этих комнат, которые становились оттого как-то еще более пустыми, заброшенными. Я всегда побаивался их полумрака и стремился пробежать их поскорее... И вдруг сразу попадал в небольшую, уютную, светлую-светлую столовую.

Здесь на фоне темно-золотистых стен, всегда, в любую погоду как будто освещенных солнцем, темнели красным деревом буфет, горка со старым фарфором и стулья. В следующей комнате — собственно гостиной моей крестной,— такой же светлой и радостной, как и столовая, стояли так же, как и там, все старые любимые вещи. Диван, на котором она всегда сидела, и кресла, придвинутые к преддиванному столу, были камышовые, такие, что ставят на террасах и в саду на даче. Только на сиденьях их лежали пуховые подушки в голубых шелковых чехлах, такие же подушки были привязаны шнурками и к спинкам.

Не из бедности, конечно, стояла такая мебель. Потом, когда я сидел в этих креслах, слушая рассказы замечательной старухи, уже в Грузинах, я их оценил. Такая мебель — эластичная, подвижная — легко следует движениям сидящего, меняющего позу, и как бы сама приспосабливается к положению его тела. Почти так же ведет себя хорошая старая деревянная мебель, в которой от долгой ее жизни с человеком вырабатывается подвижность и приспособленность к человеческому телу.

Из всех вещей, что были в комнате крестной, меня больше всего занимали часы. У крестной на стене висела уютная деревянная избушка, в которой жила кукушка,— это и были часы! Меня звали всякий раз, как они собирались бить. Вот в них начинало что-то шипеть и жужжать — и вдруг открывалась ставенка наверху, из окошка высовывала голову кукушка и громко говорила свое «ку-ку» — ровно столько раз, сколько было часов. Потом: хлоп! — и ставенка опять закрывалась. И только маятник весело щелкал: вправо-влево, вправо-влево.

Вот это были часы!

Уже тогда, в раннем моем детстве, когда я впервые увидел свою крестную мать, она редко выходила из своей комнаты — только к обеду. Ноги ей уже отказывались служить, зрение также слабело — я помню ее всегда в синих очках. У себя она всегда сидела на своем камышовом диване перед столом, у которого собирались по вечерам все домочадцы и гости.

Эти вечерние собрания вокруг стола, на который подавался чай и за которым вела всегда остроумную и живую беседу умная старуха, любившая также и других послушать, привлекали всех, очевидно, так же, как и меня, студента, по субботам двадцать лет спустя.

Даже в детстве мне казалось, что за этим столом, куда меня «не приглашали», бесконечно уютно и интересно.

Однако действительно спокойной, уютной жизни в этом доме не

было. Домочадцы Марии Харлампиевны не жили в полном согласии никогда. Ни любви, ни даже простого согласия между ними не было.

Муж крестной Петр Федорович, молчаливый, угрюмый даже, как мне казалось, старик, в прошлом то, что называлось стряпчий, ходатай по делам — словом, «аблакат» от Иверской. Где и когда его подцепила Мария Харлампиевна, мне так и осталось неизвестным. Тогда уже в доме крестной (дом-то и все состояние принадлежали ей) Петр Федорович отошел на самый задний план, уступив первое место, если около Марии Харлампиевны могло быть такое, Ивану Федоровичу, человеку значительно покрупнее, с университетским образованием, в то время товарищу председателя московского коммерческого суда. Я его знал лысым, стареющим, располневшим, таскавшим за собой по всему дому резиновый круг, который надувался и без которого геморрой не давал ему покою даже в самом мягком кресле.

А появился он в доме молодым студентом, присланным из Казани друзьями Марии Харлампиевны, купцами Губониными, на «хлеба» с просьбой пригреть его, приглядеть за ним. Очень скоро он оказался в самом деле «пригретым», а Петр Федорович с тех пор удалился в свои две комнатки в мезонин. Теперь это было дело давнее, полузабытое самими участниками событий. Петр Федорович, однако, по старой памяти спускался вниз только к столу да вечером — посидеть у Марии Харлампиевны хоть и не «в первом ряду», так где-нибудь в тени. За обедом его тоже не допускали за общий стол: он сидел хоть и в той же столовой, но спиной ко всем, за особым столиком в углу, чтобы крестная не видела, как неопрятно он ест. А он в самом деле был неопрятным, опустившимся стариком, всегда в старом английском клетчатом пальто, служившем ему халатом, которое было все засыпано табаком и засалено всякими пятнами.

Как-то я увязался за папой, который прошел к Петру Федоровичу наверх. Отец собирался его снимать (он увлечен был фотографией — почти общее тогда помешательство на заре этого искусства).

Впоследствии он снял его за столом в его маленьком кабинетике на фоне полок с книгами и увеличил до натурального размера. За это увеличение отец получил на фотографической выставке золотой жетон — такой уж был живописный старик: фотография в самом деле вышла очень красивой.

Наверху у себя Петр Федорович показался мне совсем иным — живым, разговорчивым. А когда подали по его приказанию графинчик (чего он внизу не удостаивался), так он и вовсе развеселился. Стал что-то рассказывать отцу и все подхихикивал своим сиплым баском. Мне интересно было посмотреть, как он такой веселый покажется внизу. Но там за обедом, куда нас скоро позвали, он опять присмирел и, как всегда, скромненько, незаметно прошел в свой уголок. Первый раз я видел, чтобы человек мог стать сразу совсем другим.

В этот день был мой праздник, и я сидел за большим столом среди взрослых на двух подушках, положенных на стул. Было мое рождение: мне исполнилось шесть лет. Этот день решено было по уговору с крестной отпраздновать у нее.

Крестная прислала за нами свою карету. Карета была большая, старая, с потускневшим лаком; лошади вороные, огромные, костлявые, настоящие «каретные», еще красивые, несмотря на очевидно плохой уход и преклонный возраст. Настоящая московская запряжка.

Я ехал как в лихорадке. У крестной для меня припасен был подарок — лошадь, первая моя большая лошадь в настоящей телячьей шкуре, с уздечкой, седлом и стременами. Я с нее не слезал, конечно, весь день.

«Что это она плохо тебя слушается, плохо везет»,— сказала крестная, когда я после обеда опять взгромоздился на нее. «А вот если мне дадут еще этого беленького, что давали за обедом, так она повезет меня галопом». Пришлось принести мне еще блюдце бланманже — «за остроумие», как сказала крестная.

Через несколько лет, кажется, в один из наших приездов в Москву уже из Чернигова, мы всей семьей, то есть папа с мамой и я с сестрой, были у Марии Харлампиевны на блинах. В ее доме были большие перемены: Петр Федорович умер, а Иван Федорович женился. Не знаю, было ли это ударом для Марии Харлампиевны, которая к тому времени была уже совсем старухой. Но чувствовалось, что атмосфера в доме была сильно напряженной.

Молодая жена Ивана Федоровича — дочь пономаря с Рогожского кладбища — была очень красивой женщиной, длиннолицая и горбоносая, в пенсне. (По моде того времени редкая женщина не носила пенсне. У Чехова в рассказах все модницы в пенсне. Думаю, что большинство этих девиц и дам носило пенсне, не имея в нем нужды — вероятно, с простыми стеклами.)

Она сразу стала во враждебное отношение со всем домом. Написал «со всем домом», а ведь весь-то дом — это одна Мария Харлампиевна: вот каким большим человеком у себя дома она была. Она же первая и встретила ту в штыки.

Я уже застал такую фазу жизни в этом доме, когда «молодые» (молодою была только жена Ивана Федоровича, самому ему было уже около пятидесяти), окончательно отделившись от хозяйства Марии Харлампиевны, уединились наверху, в мезонине. Из этой фазы дом крестной уже не выходил, а расхождение становилось все глубже и глубже.

Однако на этих блинах Иван Федорович был — правда, в единственном числе,— и пил водку с моим отцом, и шутил по-обычному, по-старому.

Хочется мне расписать здесь, как ели тогда в Москве блины, так как дом моей крестной был в этом отношении образцовым: следовало бы сохранить его «кулинарным музеем» конца XIX века, если бы такой музей вообще был возможен.

Прежде всего растопленное масло и сметана в изобилии. Затем селедки несколько сортов (кроме маринованных, конечно), паюсная и зернистая икра, балыки, лососина, сардины (оказывается, они удивительно идут к блинам). И для крестной особенно мелко крошенные соленые рыжики или грузди, к которым, впрочем, и остальным прикладываться не возбранялось. Конечно, водки разных сортов домашней настойки и мозельвейн — традиционное вино к блинам. Блины подавались в салфетках, под крышками и всякий раз с таким расчетом, чтобы каждому было по блину, много по два, не больше: всегда чтоб были горячие.

Между этими переменами мы, дети, бегали вокруг стола для моциона — чтобы блины поплотнее улеглись в животе и побольше их можно было съесть. Счет съеденным блинам мы вели, откладывая около своих приборов спички. А потом считали их, споря и уличая друг друга в «мошенничестве». Кто больше всех съел, тот блинный герой!

Разумеется, так бывало только дома. В гостях мы сидели за столом чинно, изо всех сил стараясь не преступить маминого завета — есть аккуратно и без жадности.

Когда все за столом немного «притомлялись», начинали есть поспокойнее, а глаза у всех становились маслеными, по распоряжению

хозяйки начинали подавать блины с «припеком». А припек был разный: крутые яйца, нарезанные тонкими ломтиками, колбаса вареная, ветчина, снетки, осетрина и самый замечательный, душистый, аппетитный припек — курчавый лук, густо насыпанный на блин. Потом, на загладку, подавались опять чистые блины, без всего. На этом едение блинов кончалось, но не кончался обед: он как раз только начинался, потому что блины блинами, а обед обедом. Подавался бульон или — чаще — уха, затем какая-нибудь хорошая рыба, потом по порядку жаркое — обыкновеннее всего дичь — и наконец сладкое — обычно мороженое.

Наши гости

Среди знакомых, к нам наезжавших очень редко, был один папин знакомый — Миткевич-Далецкий.

Это была вовсе эпизодическая фигура в нашей московской жизни, да и в российской жизни вообще; появился он как чужой, этот промежуточный тип, и исчез как-то незаметно с людьми своего поколения, не имея подобия в прошлом и не повторяясь в будущем.

Представьте себе пожилого, но вовсе еще не старого человека высокого роста, статного, хоть и со значительным брюшком, барственного во всех своих еще свободных и даже почти гибких движениях и повадках, с седой бородой, расчесанной надвое, с длинными бакенбардами. Он жил где-то в провинции, в каком-то из своих имений (а у него их было несколько), где его отец и дед, крепко приросшие к земле, когда-то жили безвыездно (не считая поездок в «губернию» на выборы или ярмарки). Но вот все их хозяйство — отцов и дедов,— утвержденное на крепостном складе, обычае и приемах, с отменой крепостного права потеряв эту почву, начинает не то что совсем разваливаться, но сильно хромать. Уже нет ни тех доходов, ни того спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, которые давались ровным ходом машины, не нами пущенной в ход, и казалось, не нам ее тормозить и останавливать. А вышло так, что машина эта вот-вот станет. И чтобы она опять покатилась ровно, надо поставить ее на новые рельсы. А новые рельсы — это прежде всего наемный труд. Затем всякие новшества в технике сельского хозяйства, разные там английские машины, многополье, и проч., и проч., направленные на повышение производительности труда этих самых наемных рабочих, которых желательно иметь поменьше. Словом, целая «политическая экономия», с которой и мне на этих безответственных страницах не справиться, а где уж таким барам, как Миткевич-Далецкий, совладать с нею в натуре! Не то что они сразу оробели, эти господа. Просто они веками были подготовлены к жизни спокойной (если к такой жизни вообще надо как-нибудь готовиться!), ждали от нее одних утех, а думать и трудиться — дело не барское; в городе для того пошел к тому времени разночинец, в деревне же ничего еще не пошло и не народилось. А прикладывать самому к делу свои далеко не мозолистые руки не всякий хотел, еще меньше кто мог. Вот Миткевич-Далецкий, с шиком носивший в деревне и в уезде русскую поддевку английского сукна и русские сапоги гамбургской кожи, меняет этот костюм на серый редингот, длинные панталоны, гетры, на серый котелок и отправляется в вояж. Первый его визит — в Дворянский банк, который к его услугам предлагает средства на дальнейшее путешествие. А потом за границу — лечиться от какой-то там вдруг оказавшейся никогда ранее не мешавшей тихому течению жизни болезни или с откровенной целью — пожуировать. Кстати, железных дорог понастроили, путешествие стало одним удовольствием.

Это, конечно, бегство от действительности, но вовсе не бегство труса с поля битвы. Миткевич-Далецкий вовсе не побежденный: он сознательно и с верным расчетом отказался от борьбы. А расчет такой: заложил землю в банке — деньги, продал лес — еще деньги. Конечно, землицы становится поменьше, доходы падают, поместья закладом обесцениваются, но на его век хватит. Можно еще пожить — и как пожить! Как ни отцы, ни деды не жили.

По пути за границу и обратно Миткевич-Далецкий всегда проводил денька два-три в Москве. Бывал и у нас. Тем более что дела по закладу или перезакладу его земель велись в банке, где служил отец. Остальное время он делил между «Омоном» и «Яром». Кто такие эти господа Омон и Яр — я узнал, конечно, значительно позже.

Как сейчас помню его статную фигуру в сером жакете, а по вечерам — в черном сюртуке, но всегда с маленькой, желтой кожи сумкой на тонком ремне через плечо — неизменной принадлежностью всех путешественников того времени. Сумка несколько похожа была на те, в которых недавно носили бинокли, а теперь — фотоаппараты «лейка» или «контакс». Он ее никогда не открывал, сигары и носовые платки вынимал из карманов, а мне как раз было крайне любопытно, что там, в этой сумке, могло находиться.

Раз-таки эта сумка открылась: он вынул оттуда несколько штук разноцветных яичек (была пасха). Яички оказались «конфетными». Разгрызть их было невозможно — такие они были твердые, а когда мы их, едва помещавшихся в наших ртах, стали обсасывать, то они из голубых, серебряных и красных сначала стали белыми, а потом за белым слоем оказался шоколад.

Кроме этих яичек, в сумочке ничего не было — это я хорошо разглядел. Не носил же он ее совсем пустую, когда в ней для нас ничего не лежало?

Рядом с этим пышным барином мне приходят на память мать и дочь — тоже помещицы и тоже приезжавшие в Москву крайне редко.

Эти двое решили для себя «земельный вопрос» по-иному: они сели на землю сами, сами собственными руками стали пахать и сеять. Насколько я сейчас соображаю, это совершилось не без Толстого: именьице маменьки и дочки было в Чернском уезде, Тульской губернии. С другой стороны — землицы у них было мало, кот наплакал: пенок с нее (особенно чужими руками) не снимешь, леса и никаких других угодий не продашь на потребу рассеянной жизни. Значит, или сам паши, или вовсе бросай и помирай с голоду. С голоду помирать они не согласились и взялись за землю сами, но и от собственных трудов без наемной силы жили, по всему было видно, не пышно.

Мать была довольно грузная старуха в темных очках. Старуха как старуха — ничего особенного. Последний раз она приезжала в Москву «снимать катаракт». Потому она мне и запомнилась, что с ее глазами должны были произвести какую-то таинственную операцию, сущность которой меня сильно интересовала, но, как я ни приставал, никто из взрослых не мог мне о ней ничего рассказать толком. Тем она была таинственней, и через нее старуха становилась особенным человеком, не как все.

Пока она лежала в больнице, ее дочь жила у нас и была предметом моего живейшего любопытства: ее уж никак нельзя было назвать человеком, как все. Сразу было видно, что она особенная! Грубоватая по виду и манерам, с загорелым, обветренным лицом и грубыми, рабочими руками — она казалась сделанной из совсем другого теста, чем другие

мамины знакомые дамы. В Москве ее, по-видимому, ничто не интересовало, даже церкви и монастыри. Почти все время она просидела одна за книжкой, как будто отдыхая от каких-то больших трудов, ни с кем не вступая в беседу сама, а только когда с ней заговорят.

Калерия Петровна

А жизнь в нашей детской текла все так же. По утрам мы, как всегда, вытаскивали из-под кровати ящик с игрушками и опрокидывали его среди ковра. Теперь только наши игры часто прерывались новым занятием — чтением.

Я стал понемногу читать с пяти лет. Мама не считала, что мне в этом возрасте уже пора овладевать грамотой, и потому гнала меня к игрушкам, когда я приставал к ней, что это за буква и как прочесть какое-нибудь слово в книжке или на обрывке газеты.

Из старых газет мы с сестрой шили себе разные наряды; только дело до конца никогда не доходило, по крайней мере у сестры. Она старательно сшивала листы вместо настоящей иголки спичкой, к которой привязана нитка, а потом так же старательно выдергивала эту нитку из шва. И очень удивлялась, даже сердилась, что куски газет распадались, не держались вместе. Когда я попытался убедить ее, что как может быть иначе, раз она нитку выдернет, она говорила, что мама всегда так делает, и как-то показала мне на маму, которая в самом деле в это время выдергивала из шва нитку: это была наметка. Такое «шей да пори» и меня повергло в величайшее недоумение. Факт оставался фактом: мама в самом деле порола то, что шила!

Вместе с тем мои рубашки и Сонины платьица, вышедшие из маминых рук, держались крепко, не разваливались на кусочки, а наши газетные листы были растерзаны в клочья, и сестра плакала от огорчения.

На этих клоках газет попадались крупные буквы, которые становились в ряд как-то так, что из них выходили слова. Это был секрет! И этим секретом я хотел овладеть. А мама отказывала мне в помощи, когда я за этим к ней лез. Тогда я пустился на хитрости, перенес свои занятия на улицу, стал учиться читать по вывескам, обращаясь за помощью к тетке, с которой мы ежедневно гуляли. Так понемножку я и овладел грамотой и очень удивил маму, когда как-то довольно гладко прочел ей несколько строк в своей книжке с картинками.

К чтению скоро пристрастилась и сестра. Сама-то она, правда, не читала, но ей так нравились сказки, что она заставляла меня читать и читать их без конца — до хрипоты в горле, до ряби в глазах. Эта-то ее «жестокость» и подвинула меня в чтении настолько, что по шестому году я читал уже совсем свободно, и на радость взрослым с этих пор у нас в детской появилось для детей тихое занятие.

И вот в эту нашу спокойную детскую жизнь врывалась иногда буря! Как настоящая буря — всегда неожиданно, в самые тихие минуты.

Звонок в прихожей. Мама опускает на колени работу и прислушивается: кого бог дал? Мы тоже вытягиваем шеи.

В передней слышен громкий, не привыкший себя стеснять и приспосабливаться к чужим ушам и комнатам, какой-то слегка растянутый голос. Мама встает и идет в переднюю, а мы с сестрой, если бы это не было совершенно неприлично, охотно залезли бы под кровать — в самую темную глубину, в уголок. Калерия Петровна была мамина подруга по институту, самая с первых классов близкая, а теперь, кажется, единственная оставшаяся в Москве. Мы не считали ее гостьей, потому что она

редко бывала по вечерам, когда ходят в гости, а всегда появлялась среди дня — иногда утром, иногда перед обедом, всегда исчезая, как только подходил наш обеденный час. Весь ее распорядок дня, как и весь уклад ее жизни, был совсем не похож на наш, да и ни на чей из наших других знакомых.

Принимала ее мама не в гостиной: без всяких церемоний Калерия Петровна шла прямо к нам в детскую, где мама обычно сидела за работой, и придвигала к ее рабочему столику свой стул. Пока они беседовали, Калерия Петровна и мама — первая всегда в повышенном тоне, так что нам казалось, что она все сердится, а мама тихим голосом вставляя редкие реплики,— мы притихали, зная, что и до нас скоро дойдет черед. И наш черед скоро наступал. Мама выходила в столовую или кухню, вызванная теткой на военный совет: для гостьи надо было что-нибудь прибавить к завтраку. «Ну, а вы как и чем живете, малыши?» С этого предисловия и начинались наши страдания: малыши начинали дрожать, а когда мама возвращалась, сестра уже тихонько плакала горькими слезами, стараясь их скрыть, чтобы не было хуже, да и я был готов к тому же.

Калерия Петровна заставала меня, например, за рисованием. «Да ты совсем неправильно рисуешь!» Вот тебе раз: неправильно! Я рисовал для своего удовольствия, у меня всегда выходило все, что мне надо и как я хотел. Я и не подозревал, что можно еще как-то там «правильно» рисовать.

«Вот ты рисуешь собаку. Здесь, в твоей книжке, тоже нарисована собака. Посмотри: вокруг головы можно обвести кружочек — значит, с кружка и надо начинать! Нарисуй сначала кружок, а в него врисовывай голову собаки, чтобы из кружка не торчали ни уши, ни нос». Я не понимал, зачем для «правильного» рисования надо, чтобы у бедной собаки из этого заколдованного круга не торчали уши? Да и что это за «правильное» рисование, когда я на самом деле не видел никаких кружков около живых собачьих голов? Такая отвлеченность была не по мне, и я выказывал мало свойственное мне в другое время упрямство, отказываясь воспринимать такие нечестные приемы рисования.

Все кончалось настоящей ссорой. «Оставь его, Калерия! Пусть рисует пока, как хочет»,— говорила мама. «Вот именно, как хочет! Они у тебя вообще растут, как хотят. Всякий труд труден и требует дисциплины. Рисование тоже. Он уже не маленький, твой упрямец. Пора ему привыкать к труду и знать, что в жизни не все игрушки!»

Выйдя из сиротского института, Калерия Петровна попала в купеческий дом в гувернантки. Что это был купеческий дом, я думаю потому, что «самого» звали Полиевкт Тихонович. Довольно скоро трудовая жизнь Калерии Петровны в этом доме кончилась, и кончилась, может быть, со скандалом — этого я не знаю точно,— но для нее довольно благополучно: Полиевкт Тихонович стал отныне на многие годы ее покровителем.

Тит Титыч — Полиевкт Тихонович (вовсе непохожий на купца, кстати,— я видел его фотографии у Калерии Петровны) — роскошно, по моим по крайней мере понятиям, обставил ей большую квартиру у Красных ворот, где она и «зажила припеваючи», как говорится в сказках, но довольно замкнуто, насколько я мог тогда судить. Да и не могло быть иначе: с такими дамами мало кто охотно сближается. А покровители их не любят, когда они ведут рассеянный образ жизни.

Калерия Петровна выезжала из дому только за покупками да к портнихам (в такие выезды она и к нам заглядывала) — она была великой модницей. Но хоть и одевалась у самых дорогих портных, не выгля-

дела ни красивой, ни изящной, а только пышно богатой. Если нам с сестрой доставалось за «неправильное» рисование, за незнание молитв или бестолковое и бесполезное чтение (она осуждала сказки), то маме доставалось за туалеты. Мама слушает ее, бывало, слушает и наконец, когда Калерия Петровна предложит ей свою портниху, скажет: «Ты забываешь, Калерия, что то, что ты себе можешь позволить, я не могу. Ты знаешь, как ограничены мои средства». Калерия Петровна даже подпрыгивала на своем стуле. «Не говори мне этого, никогда не говори! Ты просто не хочешь быть изящной, не хочешь нравиться — у тебя нет такой потребности. Это ужасно! Все твои туалеты давно вышли из моды, давно стали тряпками. Наконец это жадность, только жадность перешивать все время из старья, жалея какие-нибудь гроши на новое платье. При твоем хозяйстве, когда большая семья и траты все равно большие, всегда можно сэкономить. Ты не захочешь меня слушать, а то я научила бы тебя одеваться хорошо и экономно. Вот взгляни хоть на это мое платье! Правда, материю мне привез Полиевкт. Но ты же знаешь, что теперь на материал тратишь меньше всего. Главное отделка. И вот посмотри: за этот кусок гипюра, что у меня на юбке, я заплатила всего сорок пять рублей. Конечно, по случаю! В магазине за такой спросят рублей восемьдесят! А бархат, который так удачно пришелся в тон всему платью, я привезла последний раз из-за границы и тоже заплатила за него какие-то гроши — не помню уж сколько франков. Пришлось только купить ленты. Но ленты пустяки, их тут не так много. Вот за что пришлось заплатить в самом деле дорого, это за кружева. Но что поделаешь! Наконец от них можно отказаться. В целом, видишь, совсем без больших трат вышло нарядное платье, мне в нем никуда не совестно показаться! Так что все эти твои отговорки — это только упрямство, и больше ничего».

Упрямство! Бедная мама! У нее никогда, вероятно, не было платья, которое стоило хоть приблизительно столько, сколько Калерия Петровна заплатила за этот дешевый кусок гипюра! Думаю, что как раз эту сумму она тратила на хозяйство в месяц на всю нашу семью! Я потом слышал, что день ей обходился в среднем полтора рубля. Понятно потому, что мама отвечала молчанием на все тирады Калерии, а когда доходило до «экономии», то стремилась переменить разговор, чем лишний раз доказывала свое «упрямство» во всех туалетных вопросах.

Я хорошо помню туалеты Калерии Петровны. Потому, может быть, что только на ней и видел действительно щегольские и богатые наряды — этим она выделялась среди всех маминых приятельниц.

Занятные были моды девяностых годов прошлого века! Калерия Петровна была права, говоря, что главное в платьях того времени была отделка. Все эти вставки шелка и бархата накладывались самым причудливым образом, прикрывались сверху лентами, обшивались по всем направлениям кружевами и опушками из лебяжьего пуха, и все казалось мало: буйная фантазия (или «каприз» — основа вкуса того времени) портнихи закидывала платье еще букетиками цветов, иногда живых — на один вечер. И не поймешь, как это все прилажено и надето? Как все это держится? Кажется, такое платье драпируется из кусков прямо на теле терпеливой модницы. Словом, кажется, ее, эту модную даму, одевают, как дешевых кукол,— «на клею».

Бывали мы у Калерии Петровны не так уж редко. Может быть, потому, что она жила совсем рядом. Она нас, по-видимому, жаловала, хоть и школила нестерпимо, когда бывала у нас, и часто звала нас к себе. Насколько мы боялись ее визитов к нам, настолько сами любили у нее бывать.

Для нас в ее квартире было много интересного — целый музей. Она была завалена всякими сувенирами, вывезенными из далеких стран: тут были и мозаичные картинки, и какие-то диковинные стеклянные сосуды из Венеции, тирольские и итальянские виды, нарисованные то на срезах дерева, то на больших камнях, то внутри раковин, масса фотографий замечательных мест, домов и знаменитых людей, иностранные монеты, какие-то странные чепцы, которые носят где-то в Швейцарии или Бретани женщины, ножи дикарей, засушенные пальмовые ветки и даже настоящее яйцо страуса, которое красовалось на камине и всякий раз прежде всего привлекало наше внимание.

Обо всех этих вещицах Калерия Петровна могла нам порассказать подробно: откуда что она привезла, как что растет или для чего сделано и какие там люди, в этих странах. Интересно было ее слушать: знала она много, видела еще больше.

Еще больше огромного яйца страуса нас занимали мелкие разноцветные камешки, собранные Калерией Петровной на берегу Средиземного моря. Всякий раз из путешествия она привозила их еще и еще, так что их накопилось много — целые коробки, где они так и хранились, разобранные по годам и местам «сбора». Нам не разрешалось их смешивать, играя.

Но самое замечательное были большие раковины, в которых сохранился шум моря! Они лежали и на камине, и на маленьких столиках везде в гостиной, и в будуаре — и все шумели морским прибоем. Стоит только приложить какую-нибудь из них к уху, и слышишь, как набегают на берег, рассыпаются по камням и шипят, пенясь, волны! Я так и представлял себе, что в этих раковинах запечатлелась вся их жизнь на дне моря, как запись в фонографе (которого, кстати, тогда еще не было). Лежит такая раковина в гостиной на камине и повторяет все, что слышала, пока лежала на пустынном морском берегу. Я ухитрялся даже услышать в ней среди морского шума вой ветра и даже крики чаек!

И мне захотелось напасть на такую раковину, которая уже отшумела, «отвспоминала» все, что слышала у моря, пока ее не нашли люди, и теперь начала воспроизводить уже людские разговоры и все то, что могла услышать, когда ее взяли и принесли домой. Вот было бы интересно! Целая история: как раковина переходила из рук в руки, от владельца к владельцу, как ее наконец привезли в Россию, как она оказалась вот тут, на камине, и, рассказывая свои старые истории, запоминает и все, что слышит сейчас и что расскажет потом через много лет. Тогда, может быть, Калерия Петровна, уже старушка, услышит вновь свои давние разговоры в гостиной, узнает и то, что не говорилось при ней. Словом, новая андерсеновская сказка.

Обычно, выходя из дому на прогулку с теткой, мы направлялись к Петровскому бульвару. И я и сестра любили этот путь: по дороге было много развлечений.

Прежде всего казармы. Мы останавливались перед решеткой, отделявшей их обширный двор от улицы, и могли так простоять часами. Во дворе шло ученье солдат. Они то ходили строем, то бегали, то смешно топтались на месте. А то прыгали через тонкие перекладинки или толстые, обитые кожей бревна. Тетке, которая мерзла и скучала или пеклась на солнце и скучала, приходилось уводить нас от казарменного двора силой.

Другая остановка была у огромной витрины экипажного магазина в Каретном ряду. В широком окне, за огромным цельным стеклом, справа и слева стояли две настоящие, только неживые, лошади. Одна серая в яблоках, запряженная в легкий шарабан, а другая — рыжая, под сед-

лом. Они обе делали вид, что шагают, высоко поднимая одну переднюю ногу. Когда мне случалось рисовать лошадей, а это бывало всякий раз, как я брался за карандаш, так как, кроме лошадей и сражений, я ничего не рисовал (как раз то, что сейчас рисую неохотно и неумело), я всегда рисовал их именно так — с поднятой и согнутой наподобие меандра ногой. Между этими двумя конями помещались седла, всякая нарядная сбруя, стояли длинные бичи, а в глубине, теряясь во мраке огромного манежа, поблескивали лаком и металлическими частями нарядные кареты и коляски. От этого окна нас с сестрой также приходилось оттаскивать насильно.

Где-то в тех местах, кажется, стояла церковь Спаса на Песках, или попросту — Спас-Пески, уже утратившие свой первоначальный смысл, ставшие из названия церкви каким-то беспредметным сочетанием слов.

Иногда, избегая, по-видимому, скучных остановок у казармы и перед витриной экипажного магазина, тетка избирала другое направление для прогулки, и мы оказывались на Чистых прудах. Оттуда наш путь лежал мимо Красных ворот. Тогда нам иногда удавалось уговорить тетку зайти хоть на минутку к Калерии Петровне, не раздеваться даже (одевание и раздевание было сложной процедурой, которую дома мама с теткой проделывали в четыре руки), только взглянуть на яйцо страуса.

Как-то раз, когда нам удалось склонить тетку на такой визит, мы, войдя в переднюю, за спиной горничной увидели еще новое лицо. Это была девочка лет семи, в хорошеньком платьице, в длинных белых чулках и туфельках с помпонами. Она была очень нарядна, но что-то в ней все-таки было не так. Скоро я разглядел, в чем дело. «Не так» было то, что у нее не было ни косичек, ни локонов, как у всех девочек: она была острижена под гребенку и ее круглая головка на тонкой шейке смешно-пресмешно торчала из кружевного воротничка.

«Познакомьтесь с моей Васей. Полюбите ее так, как я ее полюбила!» — сказала Калерия Петровна, здороваясь с нами.

Потом, за обедом (наш визит затянулся, и мы-таки остались обедать), она нам все рассказала. Девочку Василису она взяла прямо из деревни, от самых-самых бедных крестьян, чуть не из курной избы, где, кроме Васи, осталась еще куча ребятишек. Из этой кучи Калерия Петровна и выбрала девочку получше, как мы поняли. Все эти ребятишки ходили всегда босиком, спали вповалку на полу на какой-то ветоши, ели один черный хлеб, да и того не вдоволь. А теперь у Васи была чистенькая кроватка — вся в кружевах и прошивках, нам и ее показали. И ела она не один черный хлеб, а бульон с пирожками, куриную котлетку со всяким разным гарниром и вафли со взбитыми сливками на сладкое. Да, для нее началась сладкая жизнь! А голову-то ей все-таки пришлось остричь наголо, чтобы она не развела в своей нарядной кроватке столько же насекомых, сколько их было в избе, пояснила Калерия Петровна, содрогаясь от одного воспоминания об этой избе. При девочке была пожилая, приятная по виду женщина, ее бонна, которая со слащавой ласковостью поучала ее хорошим манерам, стоя за ее стулом. Да, все как в сказке: добрая волшебница взяла счастливую девочку и из хлева перенесла ее в заколдованный замок!

Только колдовство-то ее, этой волшебницы, оказалось непрочным, недолговечным. Довольно скоро, через месяц или два, я услышал у нас в детской такой разговор:

Мама *(за работой)*. Но ведь ты же не только для своей забавы брала ее из деревни? Подумай, каково ей теперь там в прежних условиях, от которых она уже стала отвыкать?

Калерия Петровна *(на стуле, придвинутом к маминому рабочему столику)*. Ах, Вераша, ты не понимаешь! Ты видишь только одну сторону и совсем-совсем не подумаешь обо мне! Как я могла это терпеть? Каждую ночь одно и то же, каждое утро она просыпается в мокрых простынях. Невозможно было ее от этого отучить!

Мама. Может быть, она была нездорова? Может быть, ее надо было бы показать доктору?

Калерия Петровна. Ну, при чем здесь нездоровье и доктор? Просто дурные деревенские привычки. Они там все такие!

Мама. Но ты представляешь себе, что она там терпит сейчас от всех кругом? Ведь ее задразнят, забьют до полусмерти! Родители ее, вне всякого сомнения, уже строили на ее судьбе свое благополучие. Да ты, вероятно, кое-что им уже и посулила, чего-нибудь наобещала?

Калерия Петровна. Мало ли что! Я могла обещать, пока девочка мне нравилась. Да и не обещала я им ничего особенного, и нет мне никакого дела до ее родителей, если хочешь знать! А девчонка сама передо мной виновата: я уже стала привыкать к ней, мне нелегко было отправлять ее обратно в деревню, и, если бы не те обстоятельства и разные другие мелочи, я бы с ней не рассталась. Но разве они чувствуют? Разве у этих людей есть какие-нибудь чувства? Девчонка просто неблагодарная тварь, как и ее родители!

Мама оставляет всю эту тираду без ответа и, помолчав, переводит разговор на другие темы.

Последние слова я пишу опять на новом месте: мы с женой уже две недели живем в собственной квартире на Моховой, наискосок от того дома, где жил когда-то Гончаров. Место хорошее, улица тихая, квартира недурная, просторная, солнечная. Как бы мы ей порадовались в другое время! Но все, о чем мечтаешь, приходит или не тогда, когда надо, или не в том виде, как хочется. Так уж, видно, нарочно устроено, чтобы человек не очень загордился. А почему ему гордиться не полагается, не могу понять.

Брать бедных детей на воспитание, очевидно, было в то время повсеместным. Это была, несомненно, своеобразная форма хождения в народ, созданная нарочито для богатых людей. Чем самому, отказавшись от удобной жизни, трепаться по каким-то там деревенским весям, пытаясь что-то сделать для народа среди него же, в его же условиях, и утешать свою совесть тем, что хоть ничего такого большого сделать нет возможности, так хоть сам живешь так же по-свински, как мужик,— не лучше ли выхватить из этого свинства маленький кусочек деревни в виде вшивого малыша и поставить в свои хорошие (иногда даже слишком, до испуга этому самому маленькому дикарю, хорошие) условия. Как будто что-то для народа сделано и даже сразу видно что. И расплата тут же наличными: благодарность можно требовать сейчас же! А богатый человек, особенно тот, который сам туг на расплату, очень любит, чтоб с ним рассчитывались сейчас же.

И опять мне вспоминается моя крестная мать, которая тоже благодетельствовала мелкому люду и даже в той же форме и хоть накладывала свою тяжелую руку, как я рассказывал уже, на судьбу такого человечка, но создавала эту судьбу толково и реально, считаясь со способностями своего питомца и со средой, из которой он взят. И всегда до конца не спихивала его с глаз своих чуть что не по ней. Я помню одну такую ее воспитанницу, жившую у нее с самых малых лет. Я-то ее видел уже замужем за кондитером, который на приданое, данное за Грушей (так ее

звали) моей крестной, оборудовал маленькую кондитерскую, где сам был и хозяином, и единственным работником и куда мы с сестрой любили заглядывать, посмотреть, как делаются конфеты. А это очень интересно!

Как-то раз мы были в гостях у Марьи Васильевны, папиной тетки. Зачем нас потащили с собой родители, не понимаю. Скука была смертная! Сидеть чинно на кресле в гостиной, следить с мучительной настороженностью за своими манерами, слушать скучные-прескучные разговоры взрослых — разговоры, какие только взрослые могут «разговаривать», в которых половина говорится понарошку [1], а другая половина никому (нам, детям, во всяком случае) неинтересна,— какая зеленая тоска! У Марьи Васильевны был сын, только значительно старше меня: мне едва исполнилось семь лет, а он был уже гимназист-первоклассник. Два-три года, которые нас разделяли, были в том нашем возрасте непроходимой пропастью. Он к нам не выходил, сидел у себя в комнате (подумать только: у него была своя, отдельная комната!) и учил уроки. К обеду появился вместе с остроглазым мальчиком (гимназистом) такого же возраста — приземистым, черноватым, с квадратной, коротко остриженной головой. Они сели рядом, потихоньку продолжая какой-то таинственный разговор, весь в полунамеках. Несомненно, речь шла об индейцах, за это я теперь могу поручиться, хоть и не могу помнить этого разговора: тогда, за столом, как ни напрягал я свой слух, ничего не расслышал толком, а что и услышал, не понял вовсе.

Из разговора старших после обеда в гостиной, когда мальчики ушли, я уловил, что этот чернявый мальчик был сын лакея Марьи Васильевны — того самого, который прислуживал за столом. И мне вспомнилось, как долго копался в блюде этот лакейский сын, когда до него дошла очередь и его отец поднес ему блюдо, склонившись в почтительной позе, как полагается по чину служения за столом, от чего он отступиться не мог без видимого — по крайней мере хозяйке — тихого скандала. Было ли это просто бездумное озорство или намеренное, à la Достоевский, унижение папаши, не знаю. Но думаю, что потом этому чернявому досталось-таки на орехи в полутемной (несомненно!) лакейской конуре!

И здесь у Марьи Васильевны, как и у Калерии Петровны, эта народническая идиллия тянулась недолго. Папаша-лакей стал, по рассказам Марьи Васильевны, напиваться свыше меры, грубить, отлынивать от работы — словом, посчитал, что ему много позволено ради сына-гимназиста. Пришлось с ним расстаться, а с ним вместе отправился куда-то в безвестность и его сын.

Начало июля 1942 года. Сейчас узнал о смерти сестры, той самой своей сестры Сони, которая вспоминается здесь пятилетним карапузом «без профиля»: щеки совсем закрывали ее носик-пуговку, если на тогдашнюю ее пухлую мордочку посмотреть сбоку.

Толстенький пятилетний карапуз и пятидесятипятилетняя женщина с изможденным, носатым, потемневшим лицом, которая в середине февраля приходила ко мне на Петроградскую сторону рассказать о своей семейной драме, а 28-го уже умерла от истощения!

Как тяжело кончилась ее жизнь!

Как раз в эти дни у меня открылась варикозная рана на ноге и меня взяли в стационар, облучали ногу кварцем.

Все зимние месяцы дочь и зять лежали больные. На нас с женой легла вся тяжесть заботы о них и о себе. С великим трудом мы их выхо-

---

[1] Понарошку и мы, дети, часто разговариваем друг с другом или с пустышками, так ведь это игра! А тут всерьез беседуют понарошку.

дили. Весной только они встали, шатаясь, на ноги. Не хочу ли я, поминая все эти невзгоды, оправдать свое равнодушие к судьбе сестры?

Нет, это была бы пустая попытка: совесть моя не чиста и не спокойно я вспоминаю смерть сестры.

А почему так поздно я узнал о ее смерти — только в июле, а ее не стало в последний день февраля? Я знал, давно был уверен, что ее уже нет, но страшно было подняться по лестнице в ее квартиру, чтобы это услышать. Я бывал даже близко и, выходя из дверей, долго смотрел в сторону ее улицы, но поворачивал в другую сторону.

Однако то, что я пишу, не дневник, которому поверяются чувства, воспоминаниям нет дела до нечистой совести. Потому все это здесь неуместно по тону и не к месту по времени.

Игры. Игрушки. Реализм

Все, что сильно поражает воображение дикаря, становится предметом его религиозных действ и мистических игр. Дети — те же дикари. Темами их игр так же становится то, что сильно задерживает на себе их внимание. И как степняк, плетясь по дороге на своей белой кобылке, поет о том, что проходит перед его глазами, так и дети инсценируют в своих играх то, что сбывается вокруг них в домашней жизни.

Все дети всегда играют в «пустышки». И не только за неимением игрушек под рукой. Игрушка и есть игрушка—она неподвижна, ограниченна. Дети, впрочем, эту ограниченность игрушки умеют преодолеть, для этого только приходится сломать ее, эту игрушку.

Мне как-то подарили охотника — стрелка верхом на коне, который ездил вокруг подставки и сбивал своим торчащим кверху ружьем птицу, висящую на крючке над его головой. Ему это удавалось не сразу, так как птицу надо было раскачать этими толчками, а раз на четвертый-пятый она валилась к ногам лошади. И все! Прежде всего настоящий охотник сваливает свою дичь не концом ствола, а выстрелом. Чувство реального меня никогда не оставляло, как и всякого ребенка, который требует, чтобы и в его играх все совершалось «по-взаправдашнему». Это «взаправдашнее» или «всамделишное» ничуть не мешает постоянному детскому фантазированию, наоборот, поддерживает детское фантазерство, подводя под него, как говорится по-газетному, реальную базу, облекая в живую, во всяком случае ощутимую плоть. Потому я возненавидел эту дорогую игрушку, к удивлению взрослых, которые что-то уж слишком скоро позабывали свое детское ощущение реальности. Эта игрушка стала меня забавлять, только когда сломалась и отскочившего от своей подставки и получившего наконец свободу стрелка можно было поставить в реальную обстановку и — что важнее всего — изменять эту обстановку по своему желанию. Дурацкая птица потерялась, стрелок окружился пустышками и зажил в нашей знаменитой куче полной и разнообразной жизнью.

Моей дочери было два с половиной года. Мы жили на даче около станции Лыкошино. Уже подошла осень, закончились сборы для возвращения в город, отъехала подвода с вещами на вокзал. Дочь взяла меня за руку и повела за дом, к провалившемуся, заросшему крапивой крыльцу парадного хода, по которому никто не ходил, она сказала, что хочет попрощаться с подругами. Какими подругами? Оказалось, что на этом крыльце все лето жили две девочки-пустышки — Катя и Маня, с которыми дочь играла за неимением живых подруг. Может быть, впрочем, дело обстояло и не совсем так. Может быть, эти девочки-

пустышки были тут же, сейчас, изобретены, чтобы было с кем попрощаться, когда взрослые прощаются с соседями. Все равно пустышка, которая всегда выручает, остается милой пустышкой. Ее сила и прелесть в том, что она всегда под руками, всегда послушно следует всем поворотам детской фантазии и в любой момент может быть выкинута и забыта, не оставляя в душе никаких угрызений.

У нас с сестрой был огромный постоянный «набор» пустышек, которые были куда реальнее этого дурака охотника. Они, как наши человечки-лилипуты, имели взаправдашние качества и потому жили настоящей жизнью.

У Сони был прекрасный маленький самоварчик, совсем-совсем как настоящий — с конфоркой и краном. Но кран не поворачивался, самоварчик не открывался, в него нельзя было налить воду — и потому он не был для нас самоваром. Пусть он был бы не так похоже сделан, но в него можно было бы налить и, повернув кран, выпустить воду — и он был бы нами признан!

Я сам делал себе игрушки, вырезая и складывая их из картона. Это были пистолеты, у которых двигался курок, так что из моего пистолета можно было «выстрелить», отведя назад спуск; лошадки, которые опускали и подымали головы, передвигали ноги; тележки, у которых вертелись колеса и в которые можно было впрячь моих лошадок при помощи «настоящей» сбруи из картонных полосок и бечевочек от аптекарских упаковок. Словом, все двигалось и действовало, как всамделишное, потому и признавалось, хоть по виду и далеко было от полного подражания натуре. Я даже никак не красил свои пистолеты, пушки, лошадей и санки, оставляя их белым картоном и считая, что все достигнуто уже тем, что они действуют, как настоящие, и натуральный цвет и вид им ничего не прибавит.

Вот вам и отличие реализма от натурализма. Натурализм — подделка, а реализм — подлинная вещь, несущая в себе свое основное качество. Очень хорошо как-то выразила это моя жена, сказав, что картины наших натуралистов, корифеев современной живописи вроде Герасимова, напоминают ей раскрашенные гипсовые муляжи хлебов, овощей и фруктов, которые теперь принято выставлять в витринах магазинов. В самом деле, очень близкое внешнее подобие без всякого признака основных свойств предмета.

Поездка в Уфу

До сих пор я старался вспоминать связно, выстраивая все последовательно — хотя бы хронологически — и пряча концы ассоциаций. Я следовал какому-то (правда, несколько сомнительному) порядку, боясь отдаться прихоти «условных рефлексов», которые от одного предмета вдруг толкали меня к другому, может быть, и далекому по времени, но почему-то лежащему в моей памяти рядом с первым. Я противился такому сближению разновременных и разнородных моментов. Противился так же, как и всем настроениям сейчас окружающего меня настоящего. Это-то как раз правильно: настоящее так значительно, так густо окрашено, что способно задавить и переломать весь строй воспоминаний. Когда же трудно было удержаться, я перекладывал листы моих воспоминаний страницами, на которые бросал несколько фраз о современности, всячески стараясь сделать их протокольнее и покороче.

А вот нити ассоциаций в рядах самих воспоминаний я напрасно рвал: естественней и проще им следовать, этим нитям, и нанизывать на

них факты и мысли, как бусы, не заботясь о цвете и даже величине этих бусин.

Я пишу, а мне давно уже все мерещатся уфимские степи. Густой-густой воздух, от которого все клонит ко сну; ветерок, пришедший издалека,— так и чувствуешь, что он дальний,— тихо вея, перебирает засохшие травы, обнажая совсем выжженные солнцем полянки, по чернозему которых ходят вот тут, совсем недалеко, непуганые кроншнепы; он же, этот ветерок, приносит горячий запах кизяка из дальних ферм немецких колонистов.

Марсель Пруст в одном из своих романов, вернее в одной из частей своего бесконечного романа, построенного наподобие воспоминаний, рассказывает, как пирожное, обмакнутое в чай, воскресило в его памяти совсем было забытую тетушку, а с нею вместе и целую эпопею провинциальной жизни. В редкие дни, когда он, совсем еще мальчик, ее навещал, она угощала его чаем, к которому подавались маделены; и если бы ему не случилось, следуя старой детской привычке, обмакнуть такое пирожное в чай, он так и не вспомнил бы эту тетушку.

Если бы мне не случилось теперь, сидя перед временной плиткой, которая еще с восемнадцатого года получила название «буржуйки», подтапливать ее всяким хламом — альбомами для открыток, рамочками для фотографий, обломками старой мебели,— мне так ярко и настойчиво не вспомнилась бы уфимская степь. Моя плитка изредка начинала дымить, и вот как-то — не знаю, что попало в мое топливо, но запах этого дыма напомнил мне запах кизяка, которым там, в степях, топят печи.

Ясно представился июльский вечер. Степь — без куста, без деревца — стелется однообразным пространством, замыкаясь к горизонту цепью невысоких холмов, среди которых усеченным конусом подымается «столовая гора» (в каждом степном пейзаже, где бы я им ни любовался, мне показывали такую гору). Среди холмов что-то неясно поблескивает в туманной дали: это озеро Аслы-Куль. Над ним, над холмами, над степью золотится воздух, переходя в нестерпимый пурпур там, где заходит солнце. А здесь, передо мной,— залитые отсветами этого «багреца и золота» белые домики, конюшни и хлева поселка немцев-колонистов, поставленные подальше друг от друга, чтобы сосед, если загорится сам, не поджег соседа, чтобы несчастье одного не стало общим. Перед каждым домом дымит печь, сложенная в стороне от всех построек, посылая в воздух горячий и пряный запах кизяка, который так нечаянно напомнила мне моя «буржуйка». Эти белые печи с высокими трубами похожи на каких-то животных вроде белых лам, которые расселись, подобрав под себя ноги и вытянув кверху шеи, перед каждым домом широко раскинутой по степи колонии. На спинах этих животных стоят котлы с водой и каким-нибудь варевом на ужин.

Вот хозяйка или ее старшая дочь — где кто занимается хозяйством: моет ноги и мордочки младшим ребятишкам и, дав им по кружке парного молока и по ломтю хлеба с маслом и сыром, отправляет спать. Потом снимает со спины «ламы» котел и, сгибаясь под его тяжестью, тащит на стол, выставленный на волю, под окна. Я смотрю как будто издали и вижу, как все это по порядку и в одно время совершается около каждой усадьбы.

Но вот я сам сажусь за один из этих столов, на чистых досках которого расставлены разрозненные тарелки и глиняные мисочки, кому не досталось тарелки; разложены разнокалиберные вилки и два-три ножа. Не помню, что на этот раз оказалось в котле, всякий раз там бывало что-нибудь другое, но что неизменно появлялось в одном составе и потому осталось в памяти,— это тут же вынутые из чрева белого живот-

ного разные хлебцы, обычно из темной муки, но отличного вкуса. Особенно мне нравились тогда вафли, печенные на углях в настоящей вафельнице, и двойные хлебцы, кажется ржаные, положенные один на другой, да так и сросшиеся в печке наподобие просвирки.

Это мелькнувшее сейчас воспоминание — ужин на свежем воздухе (как это знаменательно теперь, когда еда больше мечта, чем реальность!) — относится к годам более поздним — мне уже тринадцать лет. Это вторая наша всей семьей поездка на лето в Уфимский край. Первый раз мы туда ездили, когда я был шестилетним малышом. Тогда мы жили в аксаковских местах, недалеко от станции Белебей,— в местах лесистых. Усадьба помещиков — маминых старых друзей — была в четырех верстах от станции Шафраново. На станцию мы приехали ночью. Весь путь — по железной дороге и на пароходе по Волге, по Каме и Белой до Уфы — я не буду пытаться здесь описывать. Все было чудесно, все впервые, все замечательно. Но это не события, которые так легко излагаются, а клочки впечатлений, которые и сейчас ощущаются, может быть, достаточно ярко, но не изобразимы словами. Кроме того, через семь лет мы опять совершили тот же путь, мои новые ощущения наслоились на прежние, и все смешалось, слилось. Отделять одно от другого было бы и непосильным и ненужным трудом.

Итак, наш поезд пришел на станцию Шафраново глухой ночью. Нас, детей, вынесли из вагона сонных. Я очнулся уже на дне корзины башкирской таратайки и увидел над головой звездное небо между рядами черных деревьев, обступивших дорогу справа и слева. По небу неслись разметанные тучи, навстречу им с неистовой скоростью мчалась наша таратайка, прыгая по корням, а в ее корзинке на сене мотались и подскакивали мы с сестрой. По бокам тарантаса высоко взлетали комки грязи, которые мы приняли сначала за огромных лягушек. Бешеная скачка, как я потом заметил, была обычной башкирской манерой езды, но тогда, в этой мрачной обстановке, она показалась мне зловещей, как и ночная тьма, и лягушки, скачущие выше бортов нашей корзинки. И если бы не родители, спокойно, насколько это было возможно при такой тряске, сидевшие тут же на сене, я очумел бы от страха. Сзади нас неслась таратайка с вещами, а впереди еще одна, в которой сидела тетка с моим маленьким братцем Борисом, ее любимцем и воспитанником.

Родители были не в духе, особенно мама, осуждавшая своих друзей, которые обещали и в письме и в телеграмме прислать на станцию лошадей и обманули нас, непонятно почему. Мы прибыли с условленным поездом, но напрасно искали и ждали лошадей из Алексеевки. Папа сказал, что это на них очень похоже, на маминых друзей, а мама сказала, что она не знает, на что это похоже, но что лучше молчать, чтобы вовсе не откусить язык от такой тряски.

Наш приезд оказался как будто неожиданным. Не скоро показались хозяева. Потом вдруг несколько девушек разного возраста, наскоро одетые, обступили нас, разобрали нас, детей, по рукам, стали возиться с нами. Но когда тетка заикнулась, что нас не худо было бы слегка покормить на ночь,— не нашлось ни кружки молока, ни кусочка хлеба. Кто-то только воскликнул, и все подхватили: «А какие у нас пельмени были сегодня к обеду!» Но обед был в свое время и довольно-таки давно, так как сейчас шел уже второй час ночи. Так мы и легли голодные, с трудом устроившись — кто на диване, а кто и просто на полу — в отведенной нам большой комнате, в которой не оказалось кроватей. Мама сказала, что и это на них очень похоже, и уже ворчала, не боясь откусить язык.

Такое начало не сулило как будто больших радостей. Но в течение ближайших дней, как ни странно, все устроилось само собой, нашлись и кровати, и подушки, и даже молоко детям. Началась жизнь хоть и

весьма беспорядочная, но полная радушия и весьма обильная. Не надо только рассчитывать на что-нибудь заранее подготовленное в этом доме, ибо каждое событие, хотя бы известное за много дней, заставало всех в этой семье всегда врасплох.

Потом частенько случалось видеть, как, наспех выставляя на стол что-нибудь очень скромное, угощали заезжего соседа вчерашним блюдом: «А какая у нас вчера была индейка за обедом!» Или, назвав гостей к обеду, все девушки с мамашей, забыв о гостях, уезжали куда-нибудь далеко в лес по грибы. В такие дни и совсем не бывало обеда, а так жевали, что бог послал.

Эти пикники на целый день всем доставляли огромную радость, так что непонятно даже, почему так трудно было вымолить у старших распоряжения, чтобы закладывали лошадей завтра с утра для поездки в лес. В таких случаях старшим подавался большой покойный тарантас, запряженный прекрасно подобранной тройкой белых лошадей; молодежь и дети с нашей теткой размещались на длиннейшей линейке, а корзины с едой и самовар ехали на большой телеге, высоко-высоко наложенной сеном, которую, как перышко, легко нес огромный вороной битюг. Я любил забираться на эту телегу, на сено, покрытое ковром, который потом расстилался на траве на какой-нибудь уютной лесной поляне. Оттуда, сверху, я видел, как белая тройка лихо выносила из ворот тарантас, как потом он, обогнув опушку леса, быстро скрывался в лесной чаще, куда поворачивала дорога. За ним тащилась тяжелая линейка, которую везла пара лошадей—вороной коренник и рыжая пристяжка. Линейка уходила от моего битюга не так скоро и долго пестрела сквозь черную пыль разноцветными платьями и зонтиками. И было видно по движениям пестрых фигур, которые вертелись на своих местах и размахивали руками, что там очень весело, на этой линейке. Наконец скрывалась и линейка. Гора сена, на которой я лежал, подвигалась, казалось, сама собой, так как я не видел за сеном ни арбы, ни малайки-возницы, ни даже самого гиганта битюга. Надо мной зеленый свод, в разрывы которого глядит глубокое-глубокое небо. А когда этот свод становится пониже, деревья потеснее обступают дорогу, сено шуршит по ветвям, оставляя на них длинные космы седой травы.

Как сейчас, вижу клочки впечатлений, которые оставило в моей детской памяти это лето в Уфимской губернии,— это все поездки, все лошади, тарантасы. На весь широкий степной мир я смотрю с высоты козел, сидя рядом с кучером. А то он суживается, этот мир, и через край корзины шарабана, на дне которой я сижу, из-под руки кучера я вижу только зад пристяжки, ее скачущие ноги и думаю: как неудобно ей скакать по обочине дороги, загнув голову набок, поддерживая плавность движения, с которым несет тарантас широкая рысь коренника, и отмахиваясь в то же время хвостом от слепней.

Стоит мне закрыть глаза—и сейчас же я ясно-ясно вижу это постоянное движение ног пристяжной, слышу шуршание валька, к которому привязаны ее постромки, слышу нежный аромат черноземной пыли, смешанный с запахом дегтя, кожи и лошадиного пота.

Я обмолвился уже, что жизнь в усадьбе Алексеевых была довольно безалаберна. И не только чужие интересы не блюлись в этом беспечном доме — в равной мере забывались и свои собственные. Все шло как попало, всякий делал, что хотел, и основное настроение, основная черта всех и вся в усадьбе была полная беззаботность.

Домашнее хозяйство вела та самая семнадцатилетняя Леля, к которой я попал на руки по приезде и в которую я, шестилетний малыш, влюбился сейчас же, с той же ночи безумно. Из старших сестер одна

если не ездила по соседям или не бродила уединенно по лесу, то сидела за роялем и, лениво перелистывая ноты, так же лениво перебирала клавиши. Другая — целые дни лежала ничком на диване и читала запоем романы, книжку за книжкой, выходя к столу с опухшим лицом и мутными глазами. А самая меньшая, десятилетняя Шура — настоящий сорванец,— целые дни носилась по полям на неоседланной лошади, а дома ее можно было видеть только на крыше или на вершине дерева. Тихая и спокойная Леля одна заботилась обо всем и обо всех, но не вносила в эти заботы ни капли поспешности, никоим образом не нарушая общего ленивого течения жизни. Если случался обед посложнее или входили в общий распорядок дня какие-нибудь летние заготовки, она не ускоряла темпов, не суетилась, а так же спокойно, не спеша брела, напевая, из кухни в ледник или кладовую, а потом в столовую. Так что в таких случаях обед вместо обычных трех часов подавался в восемь, а то и позже, когда у всех уже сильно подводило животы, а старший брат Александр, потеряв надежду на обед, приказывал заложить дрожки и уезжал обедать к соседке — местной поэтессе и очаровательнице,— если только голод преодолевал его лень, поистине неизмеримую.

Странно — в этой ленивой, до крайности беспечной жизни не было ничего противного, несмотря на пропасть неудобств и досад, причиняемых всякому, кто попадал под гостеприимный кров этого дома и сталкивался с полной безалаберностью его уклада.

Наоборот, было что-то бесконечно привлекательное в этой бестолковой жизни, в этих милых беспечных людях. Может быть, потому, что их беспечность прежде всего вредила им самим, что в их поступках, если эти люди решались как-то действовать, не было никакого расчета, никакой корысти. В хозяйстве все текло (и утекало!) широко, бесконтрольно. Не прилагалось никаких усилий, чтобы извлечь из него побольше,— хватало того, что давалось само собой. Случалось так, что от пятнадцати коров не бывало ни сливок, ни масла, даже молока не оказывалось достаточно, и это никого не смущало, не наводило ни на какие размышления. Есть — так есть, а нет — так нет!

Помню, папа как-то спросил Александра Александровича, который после смерти отца «вел» сельское хозяйство: «Скажите, это ваши овсы стоят вдоль полотна железной дороги. по эту сторону?» — «Да, это мой злосчастный овес. Он и взошел плохо, а что вышло и выколосилось, то дождями затопило. Придется все поле перепахивать под озимь. А что?» — «Да ничего! Скажите только, давно ли вы его видели?» — «Как вам сказать! Если признаться, так я вовсе его не видел».— «А не съездить ли нам посмотреть? Прикажите заложить бегунки».—«Да зачем? Чтоб лишний раз огорчаться? Мне приказчик все рассказал, и очень даже картинно! Представил даже в лицах, как бедный овес водой заливало». Не знаю, как это вышло, но папе удалось уговорить Александра Александровича. Тот преодолел свою лень, натянул, кряхтя, сапоги, накинул поддевку, зевая, сел в бегунки, и они поехали. Вернулся он веселый-превеселый. И не потому, что овсовое поле оказалось в самом блестящем состоянии и он радовался находке в несколько тысяч. Просто его веселил, так сказать, самый анекдот, как приказчик замыслил его надуть. Он и его, призвав, скорее поднял на смех, чем распек. А высмеять кого угодно, задавая самые скользкие вопросы с самым невозмутимым, скучающим видом, он был мастер, и сестрам его доставалось от него порядком.

Александру Александровичу было уже порядочно за тридцать лет, когда я мог сознательно на него посмотреть,— значит, эти мои впечатления относились уже ко второй нашей поездке в Уфимскую губернию, когда мы, прожив полтора месяца у немцев-колонистов, арендовавших

у моей мамы землю, приехали погостить недели на три к Алексеевым. Впечатления этой поездки, если не более яркие, то более сознательные, все время сейчас, когда я пишу, выдвигаются вперед и заслоняют то, что я вынес из первого путешествия в раннем детстве.

Как тогда, в детстве, в тот первый раз, я и теперь влюблен. Как и тогда, я робко, издали, обожаю ту же милую, тихую Лелю. Ей уже двадцать четыре года, она мне кажется такой взрослой, такой серьезной! Она поет. У нее милый (все милое, что в ней и около нее) грудной голос. По вечерам иногда мы музицируем. Нашлись романсы со скрипкой. С грехом пополам, то отставая, то убегая вперед, я «исполняю» свою скрипичную партию, страшно волнуясь. Я — мальчишка — боялся показаться нелепым, смешным в этом своем чувстве, боялся чем-нибудь его обнаружить. Потому держался подальше, стараясь не попадаться ей на пути чаще, чем все другие, и больше всего боясь оказаться наедине с ней. А как-то вышло так, что мы провели с ней целый день с глазу на глаз, совсем одни! Ей предстояло ехать на базар в Курят-Мас, большое башкирское село, за хозяйственными закупками—она все так же вела все домашнее хозяйство. К слову, в усадьбе не только это одно осталось по-старому—и все другое так же мало изменилось. Жизнь не вышла из своей старой колеи и катилась все тем же ленивым темпом. Так же не было определенного времени для обеда, так же ничем не занятые сестры опаздывали к столу, так же не оказывалось то того, то другого самого необходимого в большом, бестолковом хозяйстве.

Александр Александрович был высокий, широкоплечий, очень ладно скроенный русский красавец того типа, к которому стараются приблизиться те, кто хочет изобразить молодого русского боярина à la князь Серебряный. Он вместе с тем и прекрасно мог бы сойти за облагороженного, «оперного» Степана Разина со своим смуглым лицом, темной волнистой шевелюрой и слегка курчавой бородой. Силы он был непомерной, совершенно сверхъестественной. Я бы никогда не поверил в такую силищу, если бы сам не был свидетелем того, что я хочу рассказать дальше и что рассказывают про многих знаменитых силачей.

Как-то к нам прикатил легкий кабриолет без кучера; из него выпрыгнула, бросив вожжи подскочившему малайке, молодая дама и вихрем влетела в дом. Я в это время торчал на дворе и из любопытства, которого всегда имел достаточный запас, вошел в дом за нею. Я застал ее уже в столовой, где она с величайшим пылом и оживлением рассказывала всем, а больше Александру Александровичу, как она только что познакомилась с самим Чеховым, и удостоилась самому Чехову прочесть свою поэму, и сам Чехов остался от нее в восторге, от ее поэмы! Все это излагалось с постоянными повторениями и со многими подробностями: как кто вошел, где кто сидел, что сказал, как смотрел, как улыбался, что она сама каждую минуту чувствовала и так далее.

Когда я прочел потом рассказ Чехова «Драма», мне вспомнилась эта уфимская поэтесса. Не помню сейчас, когда написана «Драма», но, ей-богу же, уфимская поэтесса могла быть прототипом той дамы, что читала свою пьесу бедному писателю. Тем более что и маскировка-то в рассказе чисто чеховская. Недоумевал же он в письмах к друзьям, что сорокалетняя мадам Кувшинникова узнала себя в молоденькой «попрыгунье», хоть все остальное, кроме возраста и внешности, прямо противоположных образцу, было им взято с натуры. Так и тут — сама эта полная противоположность уже подозрительна. В «Драме» у Чехова дама пожилая, тучная, в пенсне. Уфимская же поэтесса была далеко еще не пожилой (хоть и была вдовой). Нисколько также не была она тучной или даже только полной; наоборот — это была высокая, то-

щая и плоская, как доска, брюнетка. Пенсне не носила, но имела другие, еще более яркие признаки эмансипации: коротко стригла свои курчавые волосы, курила, сама правила лошадью и одевалась несколько на мужской манер.

Выпалив свой рассказ, она выразила намерение мчаться дальше, чтобы, очевидно, разнести свое счастье по всем друзьям и соседям. Александр Александрович стал ее удерживать, уговаривать остаться пообедать и еще порассказать о Чехове. Дело в том, что поэтесса была немножко влюблена в него, ухаживая, насколько это возможно для женщины и даже несколько больше, чем возможно. Обычно он относился к ее наскокам, как ко всему на свете, с невозмутимым спокойствием, даже равнодушием, так как вряд ли мог серьезно увлечься ее круглой, с неправильными чертами, сплошь усыпанной черными веснушками физиономией. На этот же раз, очевидно, было задето мужское тщеславие, которое оказалось даже у него, и он не мог примириться с тем, что на долю другого, хотя бы и Чехова, доставалось так много пыла! Очевидно, ему хотелось, чтобы она несколько поостыла и побольше занялась его особой.

Однако она уже была во дворе, уже вскочила в свой кабриолет и разбирала вожжи, отмахиваясь от последних уговоров остаться. «Так вот же вы не уедете!» — воскликнул Александр Александрович. «Посмотрим»,— сказала поэтесса и слегка ударила вожжой своего орловского рысака. Серый, в яблоках, гигант переступил ногами раз, переступил другой, мотнул нетерпеливо головой — и ни с места! «Пустите, Александр Александрович!» Тут только я заметил, что он держал одной рукой колесо за обод, крепко упершись ногами в землю. Когда он отпустил колесо, рысак вынес кабриолет за ворота, перемахнув огромный двор в одно мгновение.

Этот огромный двор, обнесенный плетнем и обставленный конюшнями, сараями и амбарами, мне очень памятен.

Между домом и амбаром как будто не к месту стояла небольшая хижинка с навесом над крыльцом на столбиках — не то овинчик, не то сторожка, что-то вроде украинских омшаников. Это место, несмотря на крайнюю незатейливость, даже прямо скажем — «ненарядность» открывающихся кругом видов, было излюбленным местом вечерних собраний. А ведь за домом с другой стороны была большая терраса, а перед ней намек на когда-то бывший цветник, спускавшийся к заглохшему, заставленному гигантскими елями пруду, на том берегу которого тропинки уходили уже прямо в темную гущу леса. Живописнее трудно что-нибудь придумать! На террасе иногда обедали, пили чай, а вечером все-таки собирались на крылечко омшаника дышать ароматами скотного двора и смотреть на стены и запертые на засовы двери амбаров! Днем приезжавший за чем-нибудь башкир, свалившись с подушки, положенной вместо седла на спину белой кобылке, привязывал ее к столбику крыльца омшаника, а сам усаживался, ни слова не говоря, на ступеньках. И просиживал иногда так по полдня, пока оповещенный о его прибытии или сам завидевший его из окна Александр Александрович не выходил сюда, под навес, для хозяйственных бесед с ним.

Тут, около этой хижинки, я однажды чуть не погиб. И не один, а с целой гурьбой такой же, как я сам, мелюзги, ребятишек четырех — шести лет.

Кучер подал к крыльцу белую тройку, подождал господ, бросил вожжи на козлы и пошел со скуки в кухню покалякать.

Ах, эти белые кони! Как я мечтал сидеть в коляске, которую они мчат со звоном колокольцев и бубенчиков! Меня катали только в линейке да на возу, а белая лихая тройка была мечта.

И вот она стоит перед крыльцом, и нет никого, кто бы помешал мне забраться в коляску. Да что — в коляску! Я могу влезть на козлы, сам взять вожжи! Как отказаться от такого счастья? Я не был эгоистом: я хотел доставить это счастье и другим. Я кликнул клич. Первой влезла в коляску моя четырехлетняя сестра и расселась на подушке, как барыня. А за ней — кухаркины и сторожевы детишки, какие-то башкирята. Не успел я вскарабкаться на козлы, как коляска была уже полна.

Какие тяжелые вожжи! С великим усилием я мог только чуть подтянуть их. Но тройка уже тронулась, едва я к ним прикоснулся. Мгновение — и она уже мчала, звеня всеми своими колокольчиками и бубенцами, прямо к воротам.

Что произошло дальше, я не сразу понял. Только тройка внезапно стала, и я свалился с козел в объятия разъяренного отца.

Нас спас меньшой брат Александра Александровича, двенадцатилетний мальчишка. Он бросился наперерез лошадям, подпрыгнул и повис на шее коренника, охватив ее руками. Коренник шарахнул в сторону, потерял направление и уткнулся оглоблями в стену амбара.

Тут подоспели кучер и мой отец.

(Окончание следует)

НОВЫЙ МИР

10

1965

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI | № 10 | Октябрь, 1965 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

КАЙСЫН КУЛИЕВ — **Из новой книги стихов.** Перевел с балкарского Н. Гребнев 3

Е. ГЕРАСИМОВ — **Дикие берега** 7

Р. КИРЕЕВ — **Мать и дочь,** рассказ 44

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — **Как будто облако упало,** стихи 63

А. МАРЬЯМОВ — **За тюлькой** 65

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — **Баллада об охоте и зимнем винограде** 72

ГЛОРИЯ ФУЭРТЕС — **Из разных книг,** стихи. Перевел с испанского М. Самаев 74

В. КОНАШЕВИЧ — **О себе и своем деле** (Записки художника). Окончание 78

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ШАРОВ — **Взрослые и страна детства** 130

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ШЕРВИНСКИЙ — **Восток на западе** 152

ПУБЛИЦИСТИКА

П. ВОЛИН — **Продиктовано жизнью.** Заметки о практической экономике 176

К 70-летию со дня рождения С. А. Есенина

В. С. ЧЕРНЯВСКИЙ — **Встречи с Есениным** 189

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О. ЧАЙКОВСКАЯ — **Природа и время** (Заметки о пейзаже в современной литературе) 202

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

В. КОНАШЕВИЧ

★

О СЕБЕ И СВОЕМ ДЕЛЕ*

(Записки художника)

Из Москвы в Чернигов

...Конец октября 1942 года. Вступаем во вторую военную зиму. Откуда-то уверенность — тайная, внутренняя,— что она, эта зима, не будет, не может быть такой страшной, как прошлая. Ведь сейчас лучше, чем в прошлом году в это время, с продовольствием, есть немного дров. Может быть, отсюда и эта смутная уверенность в некотором небольшом, очень ограниченном благополучии, которая, хочется верить,— не изменит.

...Как мы переменились!

Вчера мы с женой условились встретиться на улице: я должен был передать ей талон в столовую. Я увидел ее далеко, очень далеко на пустынной набережной Фонтанки. Она тоже меня заметила и подняла руку, растопырив пальцы. Это наше семейное приветствие.

Его изобрела дочь. Мы жили в Павловске, и, когда я возвращался из города домой, она, маленькая, всегда ждала меня у окна и, как только завидит далеко на дороге, прижмет к стеклу свою ладошку с растопыренными пальцами, что означало: «Я тебя жду, вижу и приветствую». Я делал в ответ тот же знак.

Так и теперь я ответил жене тем же жестом. Издали я узнавал ее фигуру, ее слегка подпрыгивающую походку, ее пальто, ее чернобурую лису. И она представилась мне такою, какой была всегда раньше; весь год провалился куда-то, и я, дополнив ее образ воображением, видел ее почти толстой, свежей, живой в движениях женщиной. И вот она стала приближаться и подошла ко мне — маленькая, сухая, сгорбленная старушка. На меня смотрело и улыбалось милой улыбкой милое лицо — только все в морщинках, как печеное яблоко. Перемена, которая совершалась с незаметной постепенностью целый год, произошла теперь на моих глазах внезапно, сразу. И я был потрясен. В таких случаях говорят: потемнело в глазах, захватило дух. Да! Перехватило дух, и... я заплакал тут же, на улице.

Как мы изменились!

И не только внешне.

Сейчас в Ленинграде — на улицах, в домах, на службе — все без конца говорят о еде. Я как-то прислушался к обрывкам разговоров про-

---

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

ходящих мимо людей. Женщина с бидоном и кастрюлями в сетке спрашивала другую: «И что же, щи в самом деле из белой капусты?» — «Не только из белой, но еще и на мясном отваре!» Вот группа молодежи — девушка в спецовке описывает другим, очевидно, свой распорядок дня: «С девяти до одиннадцати — завтрак, потом до трех подготовка к обеду, в три обед...» Все смеются. Какой-то службист с портфелем говорит другому: «Нет, нет, не так! Сначала надо слегка поджарить, а потом уже ставить в духовку...»

И так — все мы говорим о еде! Изобретаем на словах новые блюда, которые нам кажутся «безумно» вкусными, придумываем, что бы мы сейчас съели, если бы вдруг стало все к нашим услугам. И все мы жалеем, что раньше ели мало, ели, что придется, что так невнимательно относились к еде, не замечая даже часто, что жуем. Кажется, явись возможность — и мы все кинемся варить, поджаривать, печь, мастеря самые неожиданные, невозможные на прежний вкус смеси.

Я сейчас нарочно перелистал эти свои записки: не слишком ли много, сам того не замечая, я говорю в них о еде? Нет, как будто вовсе не так много. В любом романе Диккенса или Золя — да чьем угодно, не говоря уже о мельниковских «В лесах» и «На горах»,— гораздо больше описаний обедов, завтраков, всяких яствий и питий. Нет, я не много пишу о еде. Но думаю и говорю, как и все, только о ней! И странно, это произошло с нами с тех пор, как стало несколько лучше с продовольствием; с тех пор, как мы перестали голодать в полном смысле этого слова. Прошлую зиму мы тупо и просто мечтали о хлебе, о лишнем куске того же полного несъедобных примесей хлеба. Сейчас в нашем воображении и на словах развертывается целая гастрономическая вакханалия, нагромождаются горы всяких мяс, рыб, пудингов и в особенности каш со всяким «припеком»: мы все полюбили каши и уверены, что наступят лучшие времена, и мы будем их есть — рисовые, пшенные, гречневые, овсяные! Не то что раньше, когда кашу не считали за еду...

Букварь. Астрономия. Мысли о смерти

Моя азбука, составленная для детей маминым старшим братом — он был народником если не по принадлежности к партии, то по своим убеждениям,— была вся завалена тележными осями, косами, боронами, стогами сена, овинами, ригами. Все эти слова я впервые слышал и впервые видел только тут, на картинках. Так уж вышло, что мы, городские дети того времени, принуждены были изучать грамоту по букварям, сплошь состоящим из деревенских слов.

В кабинете отца перед письменным столом стояло кресло, у которого спинкой была дуга, локотниками — два топора и где-то еще, чуть не на сиденье, примостились кнут и пара лаптей — все вырезанное из дуба. А на столе стояла настоящая маленькая деревенская изба из орехового дерева, полная папирос. Чтобы добыть из нее папиросу, надо было поднять крышку и опустить ее опять на место, и на коньке ее, в ложбинке, появлялась папироса.

Сколько еще таких затей на деревенские темы я видел у знакомых! Да чего уж больше, когда сама царица и ее фрейлины носили кокошники, а все офицерство во главе с царем — широкие шаровары, заправленные в сапоги бутылками! Таков уж был дух эпохи. Преломляясь иногда самым уродливым образом, «народнические» тенденции проползали всюду. Так они сказывались во внешнем обиходе, в вещах. Дух эпохи становился здесь только вкусом, модой, из чего-то большого и грозного он превращался в забаву, в манеру одеваться, обставлять свои комнаты.

Мне, городскому ребенку, весь этот народный дух был вполне чужд. Когда я читал (и даже учил наизусть!) про Жучку, которая ныряла в свежем сене, как в волнах, я ровно ничего не представлял, не видел — ни сена, ни волн, ни воза, который растет, как дом.

Только однажды я вдруг почувствовал яркость литературного образа — на этот раз из-за полного его совпадения с тем, что происходило вокруг меня. Я переписывал стихотворение. «Весна! Выставляется первая рама»... Выводя буквы этих первых слов, я мысленно торопил момент, когда освобожусь от этого нудного дела, а тетка от своей работы и мы пойдем на улицу, где светит солнце и, весело журча, бегут по канавкам ручейки, для которых я заготовил парочку лодочек и уже положил их в карман своего осеннего пальто из верблюжьей шерсти. И надо же быть такому совпадению: как раз в тот самый момент, когда я писал: «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался», тетка с помощью кухарки Дарьи вынула первую раму в гостиной, и в комнату в самом деле «ворвался» уличный шум — и грохот колес, и церковный звон! Исполнялась вся программа полностью по моему стихотворению! У меня даже мурашки по спине забегали! Не казалось мне раньше, что в стихах можно найти что-нибудь настолько близкое действительности. В них мне все казалось фантастическим или ходульным. Когда я читал о поле, «где, шествуя, сыплет цветами весна», то все слова оставались для меня мертвыми, какими-то нарочными, невзаправдашними.

В отцовском кабинете висел большой отрывной календарь, на спинке которого были в ряд изображены какие-то звери, рыбы — все сплошь засыпанные звездочками. Над ними было написано: «Знаки Зодиака». Не скоро я допытался у взрослых, что они значат, эти «знаки». Приставал-приставал, надоел всем и узнал только, что они как-то там соответствуют месяцам: каждый месяц имеет свой такой знак. Да это было видно и из самого календаря, как я открыл потом. Дальше оказалось, что эти быки, рыбы и весы красуются в виде звездочек на небе ночью. Я ложился рано и звездного неба во всей его красе еще не видел. Теперь я стал заглядывать на небо в окно, когда темнело и надвигалась ночь. Зверей там не было, я увидел только бесчисленное количество звезд — то больших и ярких, то мелких-мелких, густо усеявших небесный свод. С тех пор уже я не мог оторвать взгляда от неба много-много лет.

Опять я стал испытывать терпение взрослых своими бесконечными расспросами. Меньше всех могла рассказать мне тетка. Оказалось, она никогда не интересовалась небом и не думала над тем, что там творится. А нянька рассказала, что там высоко, на небе, живет бог, окруженный бесчисленными силами ангелов. В ночной тьме светятся их глазки, а мы их зовем звездочками. Что где-то внизу, в каких-то тартарарах, есть еще ад, где обитают черти, где горит вечное пламя, в котором пекутся грешники, и даже показала мне такую картинку в своем «поминанье» — маленькой бархатной книжечке с крестом наверху. На этой картинке в самом деле были нарисованы грешники, которые спокойно сидели в огне, и черти с рогами. Страшновато мне стало, когда я узнал, что гореть в этом огне, может быть, буду и я, если не буду слушаться старших, брать что-нибудь без спроса или врать.

Страшно-то страшно, но далеко не так, как тогда, когда мама рассказала мне, что звезды — это такие же миры, как наш; что там, наверху, где-то невероятно далеко в пространстве, так же горят огромные солнца, вокруг которых ходят такие же земли, как наша. Мне стало вдруг так неуютно, так по-настоящему жутко — до холодного пота, до обморока. Когда перед моим взором, который никогда еще до сих пор не раздви-

гался так широко, внезапно возник весь ужас беспредельного пространства, наполненного бесконечным количеством миров, я с огромной силой ощутил ничтожество всего, что меня окружает. Наш мирок — мир нашей детской и столовой — казался мне до сих пор единственно значительным, как будто все внешнее к нему только пристроено, а он стоит в центре всего. И вот теперь вся эта моя Птоломеева система с нашей детской в центре вдруг оказалась разрушенной.

Если бы разрушение моего мирка совершалось, как и у многих других детей, постепенно, я бы не был так внезапно и глубоко потрясен, не превратился бы на долгое время в маньяка с остановившимся взором (один глаз на небо, другой внутрь себя!).

Без явной связи с мыслями о строении мира возникли размышления о смерти: от бесконечного пространства, наполненного бытием, я перешел к мыслям о небытии, о времени, когда меня не станет. Тут как раз мне в руки попал номер журнала, кажется «Новь», приложение к какой-то газете, которую папа получал,— большая желтая тетрадь. Меня привлек рисунок на обложке: на пустынных скалах обледенелой, мертвой Земли сидит голый человек (голый потому, что это «вообще» человек, Человек с большой буквы) и смотрит на черное звездное небо, по которому раскинула хвост огромная комета. Звезды, кометы — это моя область! Перелистывая журнал, я напал на статью, к которой относился этот рисунок на обложке, и с жадностью прочел ее. Там говорилось о тогдашней злобе дня — комете, которая в том году должна была столкнуться с Землею. Это столкновение не было вероятностью или предположением — оно было точно рассчитано, вычислено астрономами, один из которых даже в ужасе от такого события, грозящего Земле неминуемой ужасной гибелью, покончил с собой (Земля наша в самом деле столкнулась с кометой и даже точно, минута в минуту, в срок, вычисленный астрономами, только почти никто из ее обитателей этого не заметил: все обошлось только дождем падающих звезд, правда довольно грандиозным).

Эта статья дала определенное направление моим размышлениям о смерти; они получили новое, вполне реальное содержание — я стал думать о конце мира. Мне представлялось, что Земля начнет замерзать вот теперь, в наши дни (масштабы мирового времени мне не были еще доступны), и я могу оказаться последним человеком на Земле! Мне стало жалко всех моих близких, погибших раньше меня; страшила и моя собственная ближайшая судьба на пустынной Земле. И вместе с тем в моем положении последнего человека открывалось много интересного, даже заманчивого. И мысли мои, устав мрачнеть от ужаса, принимали более веселый оттенок: я брожу по пустой Москве, захожу в кондитерские, ем, сколько хочу, шоколада и пирожных, никому теперь не принадлежащих и не нужных, заглядываю из любопытства в чужие квартиры — обстановка чужого быта всегда привлекала мое любопытство. Я помню, с каким интересом я заглядывал в освещенные окна вторых этажей небольших московских домиков, когда ехал с родителями и сестрой на извозчике откуда-нибудь из гостей, особенно если сидел на козлах. Охватывает свежесть летнего вечера, немного знобит и дремлется, но будит тряска и грохот пролетки, и смотришь в освещенные окна, внутренность комнат видна как на ладони. Видишь накрытые столы, людей по пояс, мирно сидящих под висячей лампой вокруг самовара или оживленно беседующих. Гадаешь о предмете их беседы, пока не попадутся новые освещенные окна. Тогда начинаешь соображать, зачем подошла к буфету эта молодая женщина, открывшая дверцу и запустившая внутрь руку. Мимо и эти окна! А женщина в белой кофте так и застыла, осталась навек в памяти с протянутой к буфету рукой.

Обычно дети, даже те, мимо которых близко прошла смерть, относятся к ней с наивной простотой. Я помню рассуждения одного четырехлетнего мальчика, который разбирал в своем уголке игрушки и мечтал вслух: «Вот я вырос большой, папа и мама мои уже умерли, я женился и жена моя тоже умерла! И никто, никто не мешает мне есть теперь шоколадные ракушки с белым кремом внутри». А дочери моей так понравилась масленка в виде маленького бидончика с завинчивающейся крышкой, которую я дал ей нести, идя с ней вместе на этюд, что она не утерпела и заявила: «Когда ты, папа, умрешь, это будет мое!»

И это вовсе не жестокость и даже не равнодушие. А если и равнодушие, то не к судьбе близких, а к смерти. В этом возрасте смерть — неосознанный факт, потому и не страшный — просто никакой. Но и потом долго еще, многие годы юности, она не страшит, потому что жизнь еще не оценена. Жизнь ценна не тем, что впереди, а тем, что прожито, что уже наполнило ее, а не тем, что еще в ожиданиях и мечтах. Жизнь наполняют прожитые события, былые встречи с живыми людьми; даже несбывшиеся надежды прошлого милы, дороги, потому что связаны с годами уже прожитой жизни. Только прожитое, свершившееся — реальность, которую можно взвесить, оценить. И чем его больше, тем полноценнее жизнь, тем крепче держится за нее человек. Вот почему старики так не хотят умирать (чем всегда дивят молодежь: жизнь уже старику, казалось бы, не в радость — одни хвори, а он все за нее цепляется).

А я думал о смерти и боялся ее еще в раннем детстве. Не потому, что с малых лет был старичком или был невесть каким особенным ребенком. Однажды нам с женой встретилась в Сочи девочка лет десяти, которая продала нам букет цветов и, разговорившись, стала сначала рассказывать, как взойти на Лысую гору, что там есть и что оттуда видно, а потом как-то свела разговор к рассуждениям о смерти. Она находила, что смерть — величайшая несправедливость и обида человеку. Если смерть нужна, то только затем, что без нее скоро развелось бы на земле столько народу, что жить негде стало б! Так пусть бы новые люди вовсе не рождались, а жили вечно те, что сейчас живут! Вот как решала этот вечный вопрос эта невинная душа, которую, несомненно, сильно бередили мысли о смерти.

Потом моя боязнь смерти как-то затуманилась. Я стал меньше размышлять беспочвенно и самочинно, больше читал. Я уже знал (лет восемь мне было тогда), что на мой век Земли хватит, что мне незачем так волноваться: пройдут еще многие миллионы лет, пока Солнце остынет настолько, что жизнь на Земле станет замирать. Мне попалась в руки тоненькая книжка, которую я нашел на полке в папиной библиотеке, где, на мое счастье, мне разрешалось рыться беспрепятственно, лишь бы я ставил все опять на свое место. Это была популярная астрономия Черкасского. Читал я ее с трудом, но из-за трудности чтения не бросал, стараясь овладеть секретом неба.

С этой книжки мой интерес к астрономии начал приобретать некоторую систему.

Но чем больше я углублялся в астрономию, тем меньше она меня удовлетворяла. Я искал ответов на вопросы о том, что совершается в мировом пространстве, есть ли, может ли быть где-нибудь такая же жизнь, как на нашей земле. Но астрономия говорила мне о параллаксе звезд, сообщала их альбедо, а о том, что было для меня важнее всего, не говорила ничего или почти ничего.

Тогда как раз Скиапарелли открыл каналы на Марсе и возникли предположения о возможной там жизни. Кто-то даже увидел световые сигналы, посылаемые с этой планеты. Я страшно заволновался, стал ловить и читать все, что могло относиться ко всем этим наблюдениям.

Но очень скоро как-то все эти разговоры заглохли, и серьезные астрономы стали по-прежнему интересоваться только своими спектрами простых и переменных звезд и прочими премудростями, которые никак не отвечали на мои единственно для меня тогда важные вопросы о жизни и смерти.

...Предыдущая глава написана в госпитале. Я не болен, я там служу! Мои обязанности — оформление помещений, я должен обставить их мебелью, развесить картины и драпировки, изготовить всякого рода надписи — «палата №. . .», «запасный выход» и т. д. Ничего не поделаешь — хлеб. Дают полное питание и восемьсот граммов хлеба. Вот что заставляет вместо настоящей работы, по которой давно гнетет тоска, делать такой скучный вздор.

Перед этим два месяца писал гигантские панно для улицы. Панно эти по заданию должны быть «настоящей» живописью, такою, какая называется станковой. Эта «станковая» живопись, изготовленная по всем правилам передвижнических традиций, подхваченных стадом эпигонов,— на открытом воздухе смотрит буро-серыми заплатами, в которых ничего не разберешь. Чтобы как-нибудь постигнуть эту мазню, которая имеет серьезную задачу, надо долго стоять около нее, разглядывать и терпеливо и внимательно докапываться до формы и смысла. А следовало бы, чтоб прохожий все схватывал на ходу, с одного беглого взгляда. Да что ломиться в открытую дверь — характер, тип такой живописи давно выработан уличным плакатом, рекламой.

Писал я эти нелепые панно против убеждения и по чужим эскизам. Хлеб насущный...

Отъезд из Москвы. Теткины питомцы. «Царьградская гостиница». Вишни и яблоки

Отцу как-то представилась возможность перевода с большим повышением из Московского отделения Крестьянского банка в Казанское. Думал-думал отец, колебался-колебался, да так и не решились они с мамой расстаться с Москвой, со всеми родными, старинными знакомыми и ехать в глухую провинцию, какой им представлялась Казань. Москва была родным городом их обоих.

А вышло так, что отцу пришлось уехать из Москвы без повышения по службе и уже не по своей воле, не по выбору и куда в бо́льшую глушь, чем Казань,— в Чернигов. Отец повздорил со своим начальником, управляющим банком, князем Кудашевым. Насколько я мог понять из родительских разговоров и обсуждений этого случая, князь потребовал от отца, который был бухгалтером, проведения какой-то не совсем законной операции к собственной его сиятельства выгоде. Отец решительно, с возмущением отказал князю и после короткого, но бурного объяснения вышел из кабинета управляющего, хлопнув в сердцах дверью. Князь рапортовал о таком поведении отца в Петербург и просил убрать от него «этого сумасшедшего».

И вот начались наши сборы, приготовления к отъезду. Отец уехал в Чернигов, чтобы подготовить наш переезд туда, и писал успокаивающие, бодрые письма. Чернигов оказался, как он писал, прелестным, веселым городком, утопающим в цветущих садах (был апрель месяц), по ночам залитым электрическим светом. Жизнь там безумно дешева, все есть и т. д.

Тем не менее дома царило уныние. Мама была удручена. Тетка тоже. Маме тяжело было покидать старых друзей — людей, милых с самого детства,— расставаться с родными местами. А тетке предстояла

разлука с ее любимцем и воспитанником, моим младшим братом Борисом. Как ни разрывалось ее сердце, как ни плакала она дни и ночи, но не решалась, хоть ей и предлагали, ехать с нами в неизвестную глушь.

Мама, правда, считала, что тетка портит Бориса своим обожанием. Постепенно, не очень для окружающих заметно, сначала в пустяках, а скоро во всем решительно младенец «забрал волю», и оказалось вдруг, что с ним «нет никакого сладу», что он «вконец испорчен».

Результат ли это только теткиного воспитания, но из Бориса действительно вырос тяжелый, в семейной обстановке трудно переносимый человек. С самых малых лет, чуть ли не как только заговорил — врунишка и воришка.

У нас с сестрой были случаи (все у нас делалось сообща), когда нас соблазнял запретный плод. Это я еще понимаю: то, что «нельзя», очень интересно и заманчиво!

Два последних в Москве лета мы жили на даче по Казанской железной дороге, недалеко от станции Люберцы, в имении князей Барятинских. Я впервые здесь увидел огромную усадьбу и мог бы легко представить себе широту помещичьей жизни, если бы способен был размышлять на такие темы. Все тут было в развале, от всех былых пышных затей остались только следы. Потом, читая Тургенева, я вспомнил эту полуразрушенную усадьбу и по этим остаткам прежнего великолепия, довольно внушительным еще и в разрушении, восстанавливал облик тургеневских помещичьих гнезд. В моем воображении неизменно вставал большой белый дом с портиком о шести колоннах, с вышкой, которую моя мама называла «бельведером», с двумя полукруглыми галереями, охватывающими двор и соединяющими главный дом с флигелями: в одном была кухня и помещение для дворни, другой был предназначен для гостей.

В большом доме каждое лето жила огромная семья московских купцов Грачевых. Сыновей у Грачева было много, были и дочери; помню шепелявую Наташу, с которой мы играли. Среди сыновей был глухонемой юноша, всегда сопровождаемый лакеем. Они оба носились с ружьями по парку и лесу, стреляя всякую птицу — больше всего ворон. Всеми делами сыновей вершил самый старший из сыновей — крупный рыжий парень, державший себя в семье, да и с посторонними крайне заносчиво. Он, как я теперь понимаю, слегка самодурил и немного играл в оригинальность, насколько позволяла это его небогатая фантазия. Каждое утро ему подавали коляску, запряженную парой серых, и, когда он в нее усаживался, лакей подносил ему на серебряном блюде толстый ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Лошади трогали, он откидывался на подушки, почему-то закрывал глаза и жевал этот ломоть всю дорогу до станции.

Наш флигель для гостей был немногим меньше большого дома. В нем было тридцать комнат, не считая огромной бильярдной. Мы занимали две или три, в некоторых других помещались наезжавшие к нам — часто в изобилии — гости.

За нашим флигелем начинался парк с остатками регулярных посадок, спускавшийся террасами с заросшими мохом и травой ступенями к ручью, который тек в Москву-реку. За ручьем, как перейдешь через мостик, дорожки терялись в густой траве, огромные ели смыкали свои лапы, и парк незаметно переходил в густой лес, полный ягод и грибов. К осени мы набирали массу всяких грибов и увозили с собой в Москву бочонки соленых груздей и рыжиков, банки маринованных опят и белых.

За кухонным флигелем тянулся совсем заглохший сад, почему-то называвшийся «русским». Там была трава по пояс, стояли одичавшие груши и яблоньки, были густые заросли лесного ореха, за которым мы туда совершали походы. Яблоки же — дички — и мелкие, твердые, как кар-

течь, груши нас не соблазняли; их полно было и на деревьях и под ними. Но как-то кучеров сын Серёнька сказал нам таинственно, что у богаделок на чердаке пропасть яблок. Богаделки — старые княжеские горничные и приживалки — жили на кухонном дворе в отдельном домике. На чердаке, куда мы сейчас же потихоньку забрались, лежали кучами дички — яблочки из русского сада; подвявшие и разогретые под накаленной солнцем железной крышей, они показались нам вкусными-превкусными. Потому прежде всего, что это был запрещенный плод, что надо было тайком забираться на чердак, тайком набивать карманы, пока не хватятся богаделки. А богаделки-таки хватились и принесли отцу жалобу на нас. Досталось нам здорово! Мама боялась за наши животы, а отца возмущала наша неразборчивость: он привозил из города достаточно хороших груш и яблок, а мы воруем несъедобную кислятину. А того не брал в расчет, что хорошие яблоки доставались нам просто — подошел и взял из вазы со стола,— а кислый и твердый дичок надо было раздобывать, обманывая бдительность зорких и злых старух. Это уж был спорт. Отец привозил также и конфеты, и пряники, и орехи. А мы все-таки, подражая дворовым ребятишкам, собирали кости и тряпки, чтобы потом выменять их у кривого мужика, раза два в месяц заезжавшего к нам на двор, на конфеты, пряники и подсолнухи. Ну, уж эти конфеты и пряники: одна мука и краска, даже почти без сахара! Однако с каким удовольствием мы их поедали! Прежде всего мы их добывали трудом: собрать достаточно костей и тряпок не так легко. А затем нам крепко-накрепко запрещено было собирать грязные тряпки, разрывая мусорные кучи и помойки, так же как и есть эту дрянь, то есть крахмальные, на клею пряники и паточные конфеты с краской нашего кривого старика. Но запрещенный плод сладок, какой бы он ни был гадостью!

Тетка скоро утешилась в разлуке с братом: у нее на руках оказался новый воспитанник — сын ее двоюродной сестры, вместе с которой она переехала из Москвы в Петербург. И странно: он, этот ее новый любимец, подрастая, становился точным повторением нашего Бориса со всеми его «милыми» чертами вплоть до мелких краж и постоянного лганья без повода и надобности. Он так же, как мой братец, не одолел гимназической премудрости, в чем так же оказались виноваты бездарные и злобные учителя, которые к нему почему-то придирались. И потом, устраиваясь кое-как в жизни, он всегда оказывался жертвой, а кругом все были дураки и бездельники; для таких бездарных лодырей почему-то всегда все кругом бездельники и идиоты.

Последние годы своей жизни тетка, всегда отдававшая все свои силы и помыслы заботам о других, доживя до беспомощной старости, провела в одиночестве, в богадельне. И я очень и очень грешен перед ней. Передавая ей изредка через других немного чаю или денег, чтобы только чуть-чуть заглушить голос совести, повелевавшей больше позаботиться о милой тетке, я даже ни разу не навестил ее там.

Приближался день отъезда из Москвы. Прощание с родственниками и старыми друзьями растянулось на много дней. У одной очень богатой папиной тетки, где мы, дети, никогда не бывали и где все нас теперь ошеломляло широтой и великолепием, я познакомился с мальчиком моих лет, даже чуть моложе, который, когда мы при помощи взрослых посчитались с ним родством, оказался мне дедушкой! При сложном и достаточно дальнем родстве это, оказывалось, вещь вполне возможная. Мальчик был бледный, рыхлый, в очках, но, несмотря на свой вялый и солидный вид, он оказался отчаянным озорником и сквернословом. Я быстро подпал под его влияние, перенял от него многие ша-

лости и тут же в саду и за обеденным столом, по его «подначке», как говорят теперь ребята, многие из них проделал, удивив своей неожиданной удалью хозяев и вызвав на свою голову изрядную нахлобучку уже потом, дома. А ведь я далеко еще не выполнил всей его программы! Только дня через два я проделал самый замечательный трюк моего проказливого дедушки — «автоматическое запирание дверей». Этим способом можно запереть дверь изнутри, находясь самому снаружи,— если только она запирается на крючок. А делается это так: надо поставить крюк вертикально с чуть заметным наклоном вперед и прихлопнуть дверь посильнее; крючок падает, попадает в петлю, и дверь «автоматически» запирается.

Я не помню пустой квартиры, связанных тюков и чемоданов. Как совершился переезд, как мы ехали — этого память мне не сохранила. Она меня переносит сразу в Чернигов, в «Гранд-отель». В каждом городе, городке и городишке непременно была гостиница с таким названием. Предполагалось, что «Гранд-отель» — лучший отель в городе, на то он и «гранд»; потому, вероятно, мы там и оказались. Но, по-видимому, этот «отель» чем-то обманул чаяния родителей, потому что уже через день мы оказались в другой гостинице. Она была и побольше и получше, с рестораном и садом, в котором было еще летнее ресторанное помещение — простой деревянный сарай, снаружи сплошь завитый диким виноградом, а внутри довольно мрачный, с закопченными стропилами над головой и темными деревянными стенами, не оклеенными обоями и даже некрашеными. Сквозь дикий виноград, заслонявший большие окна, с трудом проникал зеленый свет, сгущавший мрачноватый, очень своеобразный уют ресторана. Когда я теперь читаю американских писателей (Лондона, Брет-Гарта или О. Генри), то такими мне неизменно представляются их «салуны» где-нибудь в приисковых городках.

От дверей «салуна» до калитки на улицу были настланы дощатые мостки, назначение которых мне стало понятно, когда вскоре разразился первый (для меня) южный ливень. Я торчал у воротец, над которыми полукругом красовалась надпись: «Царьградская гостиница», и слушал военные рассказы официанта Кузьмы. Кузьма, подперев плечом косяк калитки и небрежно обмахиваясь салфеткой, повествовал о том, как он воевал с турками, которых так ненавидел старый Христодуло, хозяин нашей гостиницы — грек из Константинополя. В воздухе стояла духота, которая как будто все сгущалась. Вдруг рванул ветер, поднялась столбом пыль, закружились в воздухе бумажки, солома, стружки, которых раньше не видно было нигде на мостовой. В качестве главной улица была мощеной, и только по склонам от тротуаров росла густая низенькая травка. Ветер так же внезапно улегся, как налетел; бумажки, плавно покачиваясь в воздухе, спускались на землю, но не успели ее коснуться, как ветер рванул с новой силой — и сейчас же упало несколько крупных капель дождя. Кузьма бросился к столикам, врытым повсюду в саду, стал срывать с них скатерти, и одноногие столы оставались торчать на своих столбиках, как большие белые поганки. Я едва успел добежать до «салуна», как разразился ливень, да какой: в двух шагах ничего не было видно! Кузьма, уже под дождем собиравший стулья, только на мой голос нашел вход в «салун».

Дождь скоро прекратился — на все понадобилось не больше десяти минут,— но, боже, сколько набралось воды! Весь сад был затоплен и стоял сплошным озером. Только по мосткам можно было добраться до тротуара и выглянуть на улицу. Там быстро текла, пенясь, сплошная река — от тротуара до тротуара. Но вот показалась середина улицы, река разделилась на два потока, а вот уже вода бежала только двумя небольшими ручейками вдоль тротуаров и можно было переходить ули-

цу по горбатым, нарочно на такой случай припасенным на перекрестках мостикам, которые так смешно торчат там в сухую пору. Все блестело на солнце: и листья огромных тополей, и трава, и кирпичи тротуаров. Деревянные мостки дымились, а от «салуна» шел уже Кузьма с мокрыми волосами и, притулившись, как говорят в Чернигове, к столбу калитки, продолжал прерванное повествование о турецких вылазках и ночных разведках.

Этот ливень не единственное экзотическое впечатление первых недель в Чернигове. Еще больше нас поразило обилие ягод — прекрасных, крупных, черных вишен. Их приносили корзинами, лежали они на столах кучами, ели их «жменями» — горстями. Устав есть, мы играли ими, увешивая гирляндами из них картинки на стенах, стенки диванов, друг друга и даже нашего приятеля Кузьму: мы вешали двойные, сросшиеся черенками вишни ему на уши. Из озорства и на потеху нам он, убежав на зов посетителя, барабанившего ножом по тарелке, так и прислуживал за столом с вишнями за ушами.

Такого обилия фруктов, как здесь, я не видел. Яблоки — «коричневые» (совсем не коричневого цвета, а беловатые с румянцем черточками) и «анисовые» (смуглые, красноватые яблоки, ничуть не пахнущие анисом) — два знаменитых московских сорта, за которыми ездили специально на Болото, как назывался в Москве фруктовый рынок,— в сезон лежали в нашем буфете, наполняя целый ящик, что нам казалось невероятной роскошью. Вишни же для нас красовались только в окнах магазинов, дома же они не появлялись — вероятно, были недоступны по цене. И вдруг их здесь такая пропасть! Потом появились в таком же обилии смородина и абрикосы — совсем уже неизвестный нам до сих пор плод, а там — скороспелые груши, прежде всех лимонка, желтенькая небольшая грушка, затем маленькая хорошенькая грушка из породы дюшесов, которую там называли «принц мадам» (madame la princesse), за ними яблоки, летние сорта пепенка и путимка, такие же здесь знаменитые, как коричневые и анис в Москве,— и все это пудами, возами, кучами, грудами — везде и всюду!

В «Царьградской» мы прожили почти все лето, пока ремонтировался нанятый отцом домик. Подумать только: мы будем занимать целиком отдельный дом да еще со своим собственным садом, где зрели всякие фрукты и ягоды только для нас одних! Ягоды, правда, были уже оборваны хозяйскими детьми, но большое дерево роскошной антоновки, яблоки которой, вызревшие на дереве, совсем не похожи были на зеленую кислятину, которую продают под этим именем в лавках, стояло во всей красе. Мы смотрели на них с восхищением и далеко не сразу привыкли к такому чуду, как яблоки на дереве.

Лето проскочило быстро, скучать было некогда. В гостинице народу было пропасть по случаю открытия мощей Феодосия Углицкого, которое состоялось той же весной. По странной случайности (в которой, правда, если и было что странного и удивительного, то только для меня) в той же гостинице в ту же весну жила с неделю со своим дедом приехавшая поклониться мощам издалека маленькая девочка, впоследствии, через много лет — моя жена. Я ее, конечно, не заметил и не почувствовал, что судьба, как это она любит иногда, подвела меня на минутку вплотную к моему будущему.

Мы наконец выбрались из «Царьградской», но хозяин гостиницы — пузатый грек с большими висячими усами и голым черепом, ни дать ни взять Тарас Бульба, каким он нарисован в моем сборнике сочинений Гоголя,— его жена, константинопольская армянка, и их сын, мой сверстник, навсегда остались нашими друзьями. Как чеховский Дымба, старый Христодуло обожал свою Грецию, которую покинул чуть не в са-

мом раннем детстве, в которой, по его словам, «се есть»; если что-нибудь он особенно хотел похвалить, то у него оказывалось «грецесцим» или по-«грецесци». Он был великий кулинар и иногда стряпал какие-нибудь особенные кушанья собственноручно, выпроваживая всех вон из кухни: его рецепты были для всех тайной.

Провинция и провинциалы

Дом, куда мы переехали из гостиницы, стоял почти на краю города в тихой, пустынной улице, на которой, казалось, были одни заборы бесконечных садов. Редкие прохожие, еще реже извозчики, тащившиеся шагом, утопая по ступицу в тяжелом крупном песке, никогда не подымавшемся пылью.

Глухая провинция, тихая деревня после Садово-Самотечной, по которой сновали сотни прохожих, дребезжала конка, постоянно тянулись ломовики со всяким грузом, и если с железом, то грохот был такой, что сам себя не слышишь и что-то в груди отдается — гудит.

Здесь, на Мстиславской [1], была тишина, настоящий деревенский уют. Все знают всех, и события улицы переживаются почти как семейные. Когда случится выйти на звонок и открыть дверь гостю, видишь, как растворяются все соседние калитки (по-черниговски — фортки) и отовсюду глядят любопытные глаза: кого бог послал соседу? Скоро и мы с помощью прислуги знали всех кругом.

В высокой, старой, дребезжащей всеми гайками, настоящей поповской бричке — величавая фигура в широкополом порыжелом цилиндре. Это отец Бурима, настоятель нашей приходской церкви, глубокий старик, уважаемый всеми за свою строгую жизнь и мудрость. К нему приходили за советом в трудные минуты жизни не только его прихожане, но и люди с других концов города, и даже евреи. Служил он проникновенно, с большим чувством, а великим постом так читал «Господи, владыко живота моего», что многие приходили в Николаевскую церковь за тем только, чтобы поплакать всласть.

В такой же допотопной бричке, забрызганной грязью еще с того дождя, что был с месяц назад, проезжал мимо наших окон доктор Сикорский — огромный, грузный старик с вечной сигарой во рту. Грязный, опустившийся, он ездил по больным, с полным безразличием относясь к болезням и страданиям.

Жил он рядом с костелом и раньше, много лет назад, говорят, был в большой дружбе с богом. Но с тех пор, как умерла его жена, вылечить которую не могли черниговские медики, он отвернулся и от бога, и от его представителя на земле — ксендза, когда тот проходил мимо его окон, идя в костел или оттуда, хоть прежде он и был ему другом.

Ксендз в длинной черной сутане с массой мелких пуговок прежде всего возбудил наше детское любопытство, как только мы заприметили его на нашей улице. Мы с сестрой смутно знали, что существуют другие веры, кроме нашей; существуют и священники других вер, которые называются ксендзами и пасторами. Но мы никогда не видели их близко. С ксендзом же Козелевским мы даже скоро познакомились, как только приехала бабушка и стала ходить в костел, а мы с сестрой часто за ней и увязывались. Ксендз потом стал частым и желанным гостем у нас дома. Он жил наискосок от нас, с угла на угол, у бездетной четы чиновника-поляка.

---

[1] Старый город был перепланирован при Екатерине II, и улицы получили искусственные названия от имен князей (Ольгинская, Владимирская, Ростиславская) или от церквей (Пятницкая, Воскресенская).

Бывали мы с сестрой у ксендза в гостях, даже в его комнате, чистенькой, нарядной, как у девушки, с кисейными занавесками, с кружевными покрывалами на кровати, с коврами и ковриками (все подношения прихожанок), с большим распятием на стене — оно только и говорило о том, что это комната священника. Ксендз был мил, прост и даже весел и мало походил на того строгого, величавого священнослужителя, каким мы видели его в костеле.

За что-то его выслали из Варшавы сначала далеко на Север, а потом перевели в виде особой милости в Чернигов; но и тут он долго находился под надзором полиции, хоть и имел право служить и совершать требы. О своем прошлом он никогда не рассказывал, но видно было по всему, что он человек светский, который не все жил среди провинциальных простаков. Он тонко знал, как составить меню, что за чем должно следовать за столом, как что надо есть, какое вино, когда и как надо подавать.

Коллекция провинциальных типов быстро росла.

Едва мы устроились кое-как в новом доме, к маме пришла познакомиться хозяйка и сразу же поразила маму глубиной своих взглядов на воспитание детей. В них сказалась и начитанность, и как будто результаты собственного огромного опыта (как потом оказалось, она всегда была или беременна, или кормила грудью; и так это быстро сменяло одно другое, что хоть она была еще совсем молодой женщиной, но уже девять ее отпрысков бегали по двору). Разговор шел о детских садах в Швейцарии, о воспитании детей в Америке; всякие Песталоцци так и сыпались с ее языка вместе с фонтаном брызг: она безумно шепелявила и плевалась, когда говорила. Это была крупная неряшливая женщина, вся засыпанная — и лицо и руки — рыжими веснушками.

Мама очень обрадовалась, что будет иметь постоянно около себя такую мудрую советчицу по всем вопросам «материнства и младенчества». Но очень скоро, в ближайшие же дни, обнаружилось, что мудрость мадам Миронович в этих вопросах была ограниченно-теоретического, совершенно отвлеченного порядка. Собственный ее детский сад был настоящей разбойничьей шайкой: оборванные, немытые ее дети постоянно дрались друг с другом, ругали друг друга и мать площадными словами, чуть она делала им замечание; они весь день были в действии, осуществляя какие-нибудь мерзейшие шалости или грабительские набеги на соседние сады и кладовые.

Маме пришлось экстренно принимать самые решительные меры для ограждения нас от общения с этими детишками, воспитанниками черниговской мистрис Джеллиби.

Вспоминая эти первые свои впечатления, я замечаю, что люди в провинции как будто своеобычнее; в них как-то определеннее, ярче сказываются особенности их натуры. Столичному глазу поэтому они кажутся с первого взгляда почти карикатурами. В большом городе, в Москве, например, нет недостатка, конечно, в ярких фигурах. Но они как-то меньше выделяются, прочнее связаны с фоном, крепче в него вправлены. В провинции людей не так много, потому они меньше сливаются в общую массу, шире, так сказать, расставлены в жизни, более, следовательно, обособлены и потому их легче увидеть в отдельности. В столичном коловороте, в постоянной сутолоке не выделишь человека из толпы одним взглядом; надо всмотреться поближе, подольше понаблюдать, а остановиться некогда, жизнь течет быстро, стремительно, и один человек скоро заслоняется другими.

Так это или не так, потому или не потому, но только не увидишь в столице такого своеобразия лиц, как в провинциальном глухом углу.

В большом городе даже юродивые и сумасшедшие затеряны в толпе, они не бродят по улицам, как в Чернигове, составляя необходимую принадлежность местного бытового пейзажа, если так можно выразиться.

Все попривыкли к этим тихим помешанным, почти не замечают их, несмотря на их странности. Но если бы капитан Синюк не появился на балу в Дворянском собрании, все стали бы спрашивать друг друга, что с ним, куда он девался? А когда он тут, в зале, никто не обращает внимания на его странную фигуру, да и он не ищет ни с кем общения, а развлекается самостоятельно, подплясывая среди танцующих совсем не в лад с тем, что играет военный оркестр 172-го Переволочинского полка под управлением Зиссермана. Этот маэстро, впрочем, дирижировал только первыми тактами первого вальса, подобно тому, как губернатор, предложив руку какой-нибудь уважаемой молодой даме, делал первые па, открывая бал. Губернатор потом удалялся во внутренние покои к предводителю дворянства, а капельмейстер, передав управление оркестром первой флейте, отправлялся в буфет, откуда иногда появлялся потом побродить по залу, только лицо его всякий раз становилось краснее и его рачьи глаза все больше наливались кровью.

Капитан Синюк, потерявший рассудок в результате контузии в турецкую кампанию 78-го года, всегда жил своей собственной, судя по всему — полной и хлопотливой, жизнью. Он всегда куда-то озабоченно спешил, постоянно оживленно беседовал с какими-то воображаемыми лицами, редко замечал живых людей вокруг себя. На балу он ставил себе на весь вечер какую-нибудь несложную, безобидную задачу. Как-то он придумал, проходя в дверь, всякий раз продевать свой носовой платок в дверную ручку. Он делал это быстро и деловито, бормоча какие-то заклинания. Никому он этим не мешал, хоть и задерживал несколько поток оттанцевавших пар, которые стремились в гостиные, где предлагались прохладительные напитки и мороженое. Но однажды его задача оказалась несколько нескромной: он поставил себе целью перецеловать обнаженные плечи всех дам в зале. Для этого он тихонько подкрадывался к даме и, быстренько поцеловав ее в плечо или в спину, отворачивался с невинным видом и шел, приплясывая, дальше. Пришлось вмешаться распорядителям: роскошный чиновник особых поручений с голубым бантом на плече фрака и не менее роскошный студент с таким же бантом на мундире (конечно, на белой подкладке) подлетели к капитану, подхватили его под руки и повели к главнокомандующему, который, как оказалось, вызывал его к себе, чтобы наградить еще одним георгиевским крестом, а у него и без того были полны петлицы солдатских георгиев, привязанных целыми пучками.

Другой, менее заметной и менее популярной фигурой была наша «мисс Гевишам». Смутно была известна история этой обманутой невесты.

Все знали, что капитан Синюк живет в собственном домике со своей старушкой матерью и двумя мопсиками, которых он водит с собой по улицам. Но где жила «мисс Гевишам» и как ее звали по-настоящему — никому не было известно. А жила она, вероятно, в большой бедности, ибо ее изысканные туалеты были крайне убоги, хоть и свидетельствовали об аристократизме самой высокой марки, как и манеры самой невесты, уже далеко не молодой девицы, которая, сложив перед собой руки в митенках и опустив долу глаза, быстрыми шагами проносилась по бульварам и по Шоссейной улице. Ее костюмы, крайне разнообразные, были из самых дешевых материалов, из коленкора и старого тряпья, но отличались яркостью цветов и неожиданностью их сочетаний: юбка густо-красная, жакет с баской, как носили в семидесятых годах, черный, с цветными рукавами — один синий, другой зеленый. Больше же всего

ее фантазия изощрялась в украшении шляп, отделанных лентами, нарезанными из коленкора и цветной бумаги.

Толкнул я свою память, и меня плотно охватила старая (увы, в самом деле очень старая!) черниговская атмосфера, и полезла на меня толпа лиц и замечательных чем-нибудь, и вовсе ничем не замечательных. Вспоминается как-то все сразу и нет возможности (да и есть ли надобность?) разобраться в этом обилии. Все кружится на фоне черниговского пейзажа. То это начало весны, первая неделя поста, когда мы говели. Только что на масленой мы катались на санях, хоть и по плохому уже снегу; за эту же неделю успевают сойти последние его следы, сбежать все воды и даже подсохнуть грязь. И вот уже пасха, днем солнце греет совсем уже по-летнему, и цветут вишни и яблоки. Приезжает из дальних странствований мой учитель рисования Иван Иванович, о котором я еще порасскажу потом и который утверждал, что нигде на свете не бывает весен чудеснее черниговских. А там уже в садах висят на деревьях и валяются под ними такие яблоки и груши, какие в столицах у какого-нибудь Елисеева на окне лежали отдельно каждое в гнездышках, свитых из папиросной бумаги. Потом после ясной теплой осени — короткая, иногда очень снежная зима, когда провинциальная тишина становится еще заметнее и только извозчичьи лошадки во избежание столкновений гремят по приказу губернатора бубенцами своих ошейников.

Не люблю я зимы — даже короткой и мягкой. А искусствоведы будущего, если только им будет дело до моего искусства и если кое-какие мои работы сохранятся, будут считать меня «мастером зимы» за мои зимние пейзажи на китайской бумаге — самое приметное в моем творчестве. Что ж, я ее хорошо чувствую, зиму, и охотно любуюсь ее снегами и узором ветвей, запорошенных снегом... но только из окна. И сейчас менее всего милы мне черниговские зимние воспоминания, хотя и они вливаются в то общее, что нахлынуло на меня сейчас и хочет сразу же здесь и вылиться в таком же сжатом, уплотненном до предела концентрате, как хранится в моей памяти. Но нет у меня к тому сил. Хоть я и убежден, что в искусстве как раз то только ценно и действенно, что выражено сжато и кратко. В своем деле, где я свободнее и искуснее, чем на этих страницах, я всегда стремлюсь к такому уплотнению. И в литературе я люблю такую же предельную сжатость.

За это именно я особенно чту Чехова, у которого сама форма так скупа и лаконична, что тупому взгляду, не видящему за нею богатства содержания, вся постройка может показаться легковесной [1].

Этой легкостью и меня когда-то попрекали. Все кажется почему-то, что моя скупая линия сделана с маху, без поисков, что только многословное изложение требует много труда. Как раз нет: именно доведенная до крайней простоты форма требует и великого творческого напряжения, и долгого размышления, и длительной подготовки. Между формой и содержанием, если только можно их различать (но не расчленять!), соотношение обратное: чем многословнее форма, тем менее концентрировано содержание, тем оно «реже», распыленнее. И уж, конечно, легче насказать, наворотить очень много по поводу малого, чем очень малыми чертами выразить большое! Два прямо противоположных приема: один — нагромождение все новых и новых подробностей, новые слова все о том же, чтобы полнее, многостороннее выявить содержание. А оно, это содержание, не становится яснее от новых пояс-

[1] В. И. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях о Чехове пишет: «Возьмите карандаш, прочтите внимательно хотя бы страничку Тургенева, и вы что-нибудь да вычеркнете оттуда. И самый придирчивый критик не мог бы совершить такой операции над Чеховым...»

нений, а расплывается в многословии, слабеет, сереет. Зрителю или читателю становится скучноватой такая слишком разжеванная пища. Он уже давно понял и почувствовал, что ему хотят сказать, а ему еще и еще новым набором слов растолковывают все то же.

Другой прием, наоборот, отметение лишних подробностей, оголение формы, очищение от повторений — хотя бы и другими словами — того, что уже сказано. Тем, что большое содержание зажато в скупую (количественно) форму, создается великое напряжение, каждое слово наполняется большим весом, каждая линия, каждая точка становится значительной, необходимой. Тогда как в первом случае, при многословном изложении, не все подробности одинаково необходимы и взгляд мимо них скользит равнодушно, здесь — когда изложение скупо подробностями — каждая черта необходима. Многословный прием творчества порождает неряшливость: в большом обилии подробностей кое-что можно незаметно, без вреда для целого сооружения сократить, выкинуть, переставить. В сжатом, скупом изложении нельзя посягнуть ни на одну из черт: каждая черта, каждое слово на счету. И еще: многословное произведение читается (или смотрится) без напряжения, усваивается безучастно, бездеятельно — что-нибудь да зацепится за сознание из того, чего так много. Произведение, изложенное лаконично, надо читать или смотреть активно, творчески, внимательно вглядываясь в каждую черту, разгадывая намеки и пополняя недосказы.

Чувствую, что вдался (и довольно глубоко) в тот прием изложения, что назвал многословным, и все-таки, кажется мне, не сказал все так ясно, как хотел. Возможно, что к этим рассуждениям я еще вернусь, когда буду говорить о своем творчестве, если только мои записки дотянутся до этого пока далекого времени. Сейчас я еще десятилетний мальчишка, еще только собираюсь впервые в гимназию. Искусство еще не пролезает в мою жизнь, не забирает меня в свои лапы. Пока я занимаюсь другим — учусь играть на скрипке у старого музыканта из тех, что играют на деревенских свадьбах,— таков каприз отца, который думал, как многие, что для того, чтоб заложить начало, не надо быть профессором.

Мой старик учитель был необычайной душевной ясности, и прежде всего потому, что давно уже впал в детство. Жизнь подарила ему несколько лет спокойной старости: он выдал свою дочь за богача и с тех пор перестал таскаться по свадьбам и кабакам; даже уличное его прозвище Никитка-музыкант стало забываться ввиду его нового, почтенного положения.

К нам он приходил с утра, когда ему вздумается, и вместо положенного часа просиживал и три и пять. Я уходил играть, побегать в саду или садился с мамой за диктовку или арифметику, а он все сидел и писал мне ноты — и все это были разные переложения украинских песен со старыми, традиционными вариациями. За чаем или за обедом, до которых он неизменно досиживал, он всегда рассказывал длинную анекдотическую украинскую историю — одну из трех застрявших у него в памяти — и не замечал, что мы все, знавшие эти истории наизусть, вели вполголоса свой разговор, как не замечал, что от его затянувшегося урока я убегал для других занятий или игр.

Кораблестроение. Натур- и всякая иная философия

Двум-трем своим приятелям я признался, что пишу что-то вроде воспоминаний. Они очень удивлены тем обстоятельством, что я, исписав уже три толстые тетради, добрался только до девятилетнего своего возраста. Говорят, что обычно детские годы в мемуарах или вовсе опуска-

ются, или занимают там мало места, служа лишь введением — их цель показать только то, что французы называют l'origine автора. Воспоминания якобы приобретают интерес с того момента, когда уже взрослый, вполне сознательный автор становится участником или свидетелем великих или только значительных событий, сталкивается с чем-нибудь замечательными людьми. Якобы только рассказы о событиях необычных, о людях знаменитых могут иметь общий интерес[1], а все остальное, все события личной жизни так и остаются только личными, не могут приобрести интереса общечеловеческого.

Я вполне убежден, что это не так. Достаточно вспомнить хотя бы «Детство» и «Отрочество» Толстого, «Историю моего современника» Короленко или «Книгу моего друга» Ан. Франса. Может быть, это не просто честные, бесхитростные воспоминания о своих детских днях, может быть, только некоторые черты биографии стали толчком для создания этих замечательных хроник, имеющих поэтому не только ограниченно автобиографическое значение. Для меня здесь ценно то, что они построены, как воспоминания детства, замкнуты в круг семьи, родных, знакомых. Авторы их не тянутся за великими событиями, за знаменитыми людьми. И тем не менее эти воспоминания детства читаются с великим интересом уже несколькими поколениями и, по-видимому, никогда этого общечеловеческого значения не утратят.

Пусть не подумает кто-нибудь, что я хочу своими воспоминаниями стать в ряд с помянутыми выше чудесными хрониками. Я их вспомнил только, чтобы пояснить свою мысль, которую хочу еще продолжить.

Должен признаться, что за личными, семейными — своими или чужими — событиями я признаю подлинный общечеловеческий интерес. Потому прежде всего, что личную и семейную жизнь всякий ощущает как наиболее близкую себе.

Кто хочет прочесть мою мысль более расширенной и уточненной, пусть откроет «Барнеби Радж» Диккенса. Там мои мысли изложены и полнее и сильнее, чем я это могу сделать.

Помянул Диккенса — и не могу не задержаться немного на нем: я его очень люблю! Говорят — и это меня страшно злит,— что он бездумный, что его книги — это гениальное развлекательное чтение, привлекающее остротой фабулы, обилием образов, их четкой выпуклостью, но что за всем этим в глубине нет ничего, нет никакой направленности. Как это глубоко неверно! Диккенс — самый тенденциозный писатель, какого я знаю, только его тенденция не обнаруживается так сразу и целиком потому прежде всего, что никогда не бывает основой произведения в том смысле, как, например, у Шекспира: одна драма — «любовь», другая — «ревность» и т. д. Не бывает у него такого единственного стержня, на который все было бы нанизано. Если начать выискивать в любом романе Диккенса идею, которой было бы все подчинено, то таких идей оказалось бы множество, протянутых то параллельно, то хитро переплетающихся. Но за этим обилием тем, за богатством лиц и событий у Диккенса всегда и повсюду скользит, как тень, одна постоянная, скрытая этим внешним обилием тенденция — недоверчивое, даже враждебное отношение к современным ему людским государственным установлениям.

В мировой литературе я знаю еще только два ярких примера такого же постоянства и настойчивости, что и у Диккенса. Конечно, это

---

[1] Вспоминаются виды городов — наших и европейских — в альбомах и открытках: всегда — собор, дворец, театр, вокзал, музей и т. д. Фотограф считает, что интересны только такие замечательные здания, и не догадывается снять просто городской пейзаж с обывательскими домами, среди которых оказались бы и дворец, и музей, и театр. Такой пейзаж был бы типичнее для города, дал бы о нем более верное представление.

Толстой прежде всего с его отрицанием всяческой государственности, возведенным в догмат. А во-вторых, Анатоль Франс. Даже в тех своих произведениях, где антигосударственная тенденция не стоит основой всего сооружения (как в «Восстании ангелов»), например даже там, где все содержание — житейские личные дела какого-нибудь Бержере, и там он к месту или не к месту порочит то суды, то войны и военных, то духовенство и веру как оплот государственности.

То же неустанно делает и Диккенс. К слову: он никогда не отдает своих злодеев в руки правосудия, а расправляется с ними сам, то обрушивая на них дома, то топя их в полой воде, а то заставляя их самих как-нибудь покончить с собой, иногда даже в ту последнюю минуту, когда на них уже наложило руку человеческое правосудие, как это случается с одним из Чезлвитов. Он не доверяет правосудию, не позволяя ему выступить ни защитником человеческих прав, ни мстителем, тем самым косвенно осуждая то человеческое установление, которое всегда было оплотом государственности.

Но я уж очень отвлекся в сторону. Ведь мне десятый год. В своих мечтах я давно уже не кучер — теперь я моряк. Маленькие лодочки, сшитые из клеенчатой обертки общей тетради, которые я пускал в московских уличных канавках после дождя, вырастают теперь в большие деревянные корабли. Я строю их если не по всем правилам корабельной техники, то со всеми мелкими деталями: все подробности рангоута и такелажа воспроизводятся мною с педантичной точностью по чертежам из большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, который становится моей любимой книгой для чтения; я уже не лезу с вопросами к взрослым, а сам ищу на них ответы в этом словаре.

Необходимое условие, на которое должны отвечать мои модели фрегатов и шхун,— это мореходность: они должны не только внешне воспроизводить приметы корабля, но должны хорошо стоять на воде, ходить под парусами при ветре и слушаться руля. Свои пробы я произвожу, увы, только в бочках для поливки цветов, которые стоят везде под водосточными трубами,— бо́льшего водяного бассейна не было у меня поблизости. Под один из желобов поставили еще огромную железную ванну: запаса воды в бочках не хватало для поливки папиных обширных цветников.

Пуская свои большие парусные корабли и маленькие лодочки с резиновым мотором своего изобретения в этой ванне, я заметил одно явление, которое навело меня на долгие размышления. Вернее, я не замечал тех явлений, которые ожидал видеть: мне хотелось, чтобы все выглядело по-всамделишному, и мой корабль, как настоящий, набрав ветру в паруса, должен был мчаться по воде. Но что-то мешало полной реальности картины. А казалось бы, все условия были налицо. В этот угол сада залетал настоящий ветер, кренил набок мою шхуну, и она, надув паруса, неслась из одного конца ванны в другой. Я пригибался, устанавливал свой глаз на высоте борта ванны и старался представить себе, что с берега смотрю на удаляющийся корабль. Но не было той картины, которую я все старался воспроизвести: «корабль в открытом море при свежем ветре». Не пенилась за кормой вода, нос корабля, рассекая воду, не отворачивал крутых, разбегающихся в стороны валов.

Вода вела себя как-то не по-настоящему. Она как будто была слишком густа и неподатлива даже для больших моих кораблей. Маленькие же лодочки так и вовсе как-то нелепо «влипали» в воду, она как бы взбиралась на их борта со всех сторон, мешая настоящему ходу. Я ничего не знал ни о пленке поверхностного натяжения, ни о мениске. А просто заключил, что раз вода по-разному относится к большим, на-

стоящим кораблям и к моим маленьким корабликам, раз для тех она достаточно жидка, а для моих оказывается вдруг такой густой, то, значит, она имеет свой масштаб, то есть свою постоянную густоту, или «крупноту», как мне хотелось тогда выразиться. Ее густота — непременное ее качество, которое и делает ее такой тяжелой и неподатливой для моих так уменьшенных по сравнению с настоящими кораблей.

Размышляя дальше (надолго мне хватило этих размышлений!), я пришел к убеждению, что вся материя в природе (не только на нашей планете, но и во всем, может быть, мире) должна иметь определенную и постоянную «крупноту» строения. И потому все ее творения — и человек в том числе — должны иметь определенные размеры, которые могут колебаться только в очень узких границах, так как ткани, из которых он сделан, и жидкости, которые в нем переливаются, имеют определенный масштаб строения. Я должен был с грустью признать, что в природе не может быть тех великанов, о которых рассказывают в сказках, не может быть и тех малюсеньких людишек, которые в нашем с сестрой воображении совсем недавно населяли нашу детскую.

О масштабе и размерах мне и раньше приходилось задумываться, но иначе, исходя из того, что может увидеть глаз и чего не может, я задумывался над этим не как «естествоиспытатель», а как «художник». Рисуя лошадок, я обыкновенно вырисовывал все подробности только у лошадей побольше, на всю четвертушку бумаги. Когда же мне случалось рисовать маленьких лошадок, я не делал им ни копыт, ни колен не только потому, что у них эти подробности не разглядеть, но искренно убежденный, что они им, таким малюсеньким, не нужны, не полагаются и что, если бы такие маленькие лошадки народились живые, их ножки были бы, как я рисовал, прямыми палочками.

Тогда уже смутно чувствовалось то, в чем я сейчас твердо уверен: всякому размеру рисунка — свои пропорции, а также и свои детали. Нельзя потому механически уменьшать или увеличивать рисунок, как это делается в фотографии,— во всяком размере следует компоновать рисунок заново, тогда и пропорции в каждом случае непременно окажутся иными.

В своих детских размышлениях я часто предвосхищал то, что потом узнавал из учебников и книг. Так что чтение в таких случаях только проясняло и систематизировало мои уже готовые знания, которые, впрочем, вернее следовало бы назвать не знаниями, а смутными предчувствиями знаний.

...Стол был накрыт к ужину на террасе. Посередине стояла садовая лампа с приспособлениями, предохранявшими ее от ветра. Тени от предметов, стоявших на столе, тянулись по скатерти, потом, ломаясь, ползли по стене. Вглядевшись в эти искаженные теневые изображения, я заметил, как мало они соответствуют тем предметам, которым принадлежат. Тень от большого кувшина с молоком, стоявшего на краю стола, была немногим только больше самого кувшина и довольно точно воспроизводила на стене его очертания — он на тени был только слегка кособок. Тень же от небольшого флакона с прованским маслом, стоявшего около самой лампы, протянулась, все расширяясь, по столу, переползла, ломаясь, по тарелкам и вползла на стену, широкая и расплывающаяся, куда больше кувшина с молоком и даже вазы с цветами, стоявшей на другом конце стола.

Что, если так и все вокруг нас, что, если нам дано видеть только тени предметов и сами они не совсем такие, как их видимость?

Вот, например, тут же на стене огромная тень бабушки. Сама бабушка сидит за столом и читает в ожидании ужина. Вот я подымаю прутик (я только что ходил в темный сад посмотреть, не упало ли с де-

рева где-нибудь яблоко, и для храбрости брал этот прут с собой), на стене появляется тень прута и скользит, понемногу приближаясь к носу бабушкиной тени. В действительности мой прут и бабушка далеко друг от друга, но на тени прут вот уже коснулся бабушкиного носа... «Что с тобой, Володя! — слышу я бабушкин голос.— Ты мне нос проткнул своей веткой!» Оказывается, на этот раз мир явлений и подлинный мир совпали!

Да не подумает тот, кто заглянет в эти записки, что я был отвратительно умным или скучно мечтательным мальчишкой. Нет — вся эта моя мечтательность и склонность к философствованию ничуть не мешала мне быть, как всем, шаловливым, правда не свыше меры, но большим любителем качаться на качелях так, что веревки ослабевали, лазать на деревья за яблоками и стрелять из лука и рогатки воробьев.

Ярмарки. Маевки

...Надо рассказать Соне. Только она это поймет, потому что в «этом» — намек на какое-нибудь семейное событие, ставшее анекдотом в семье, и только этот намек осмысливает то, что сейчас притянуло внимание. Только Соня, свидетельница того давнего, поймет меня с полуслова и ощутит, как и я, теперешнюю, осовремененную тень этого старого, что вспомнилось сейчас.

Но ее нет: ровно год тому назад, 28 февраля, она умерла. Некому понять меня, войти в ту атмосферу, которая охватывает, когда воспоминание коснется того давнего.

Закрытые навсегда страницы!

Вот как отходят в вечность без следа, без возможности их воспроизвести целые отделы жизни.

Старческая изолированность? Не полная еще — это ведь далеко не вся жизнь. Отмирают только самые дальние, ранние куски. Отмирают со смертью тех близких, что жили тогда рядом одной жизнью.

Да! Чувствуешь — кусками отваливается жизнь.

Как жутко.

Надо рассказать Соне...

Тени событий легко оживают в рассказе, тени ушедших лиц легко выстраиваются в живую галерею портретов. Но старое мировосприятие, тени былых ощущений — как их оживить?

Легко рассказать, как чистый осенний свет солнца заливает неоглядное поле на берегу реки, где собиралась ярмарка; как над ней стоит облако пыли, которое одно и видишь издали с вала; как издалека слышишь шум, гул — смутный, как это облако пыли. Из этой пыли, когда подходишь, выдвигаются поднятые оглобли возов, шатры палаток, головы и спины лошадей, наконец море брилей и смушковых шапок. Так и в этом шуме начинаешь различать, приближаясь, ржанье лошадей, скрип возов, звуки шарманки и бубна у каруселей и наконец человечьи голоса.

Но как рассказать, почему все это праздник, почему так стремишься в эту толпу? И хоть сам не сядешь на деревянную лошадку карусели, потому что это чуть неприлично, да и не особенно увлекательно, но смотришь весело и жадно на все кругом, такое необычное. И обязательно купишь за пятак сопелку из бузины, которые связками носит обожженный солнцем, темно-коричневый дедусь, сам наигрывая на такой сопелке какую-то хитрую мелодию. А дома закинешь эту дудочку, потому что тут она уже неинтересна.

А взрослые покупают на ярмарке брынзу и сало — такое самое,

какое можно купить всякий день на базаре. И, конечно, все едят сластены! Эти сластены — не что иное, как маленькие оладьи, какие дома приготавливают и вкуснее, и во всяком случае чище, опрятнее.

Весеннюю ярмарку полая вода отодвигает ближе к городу, ей меньше места, шатры и балаганы толпятся у самой воды, где стоят купальни и лодочные станции. Сюда причаливаем мы, возвращаясь по реке с маевки, как здесь называют пикник, когда бы он ни случился, хоть в сентябре.

Как я любил эти поздние возвращения! На реке совсем темно и тихо, лодка скользит по течению беззвучно, чуть всплескивают весла, которыми слегка подгребает кто-нибудь; немного свежо, охватывает сладкая истома: сморил весенний воздух и хочется спать,— обычный час сна уже настал. На берегу горит над самой водой фонарь, на который надо держать. Он становится понемногу яснее, и вот неожиданно, когда кажется, что берег еще далеко, лодка шуршит бортом вдоль других причаленных лодок и стукается носом о помост. И вот мы уже идем онемелыми ногами по истоптанной пыли, где днем шумела ярмарка и где сейчас все тихо. Не видишь, а только смутно угадываешь ряды возов и палаток да где-нибудь заметишь светлый силуэт огромного вола. Вдали горит рядок огней — это палатки сластенщиц. Нам идти мимо, и мы заходим в одну из них. Это сарайчик, наскоро сколоченный из досок, весь щелявый и косой. На земляном полу стоит колченогий стол, обставленный скамейками, а в углу — печь с небольшой плиткой. На плите — большая сковорода, а рядом, на табурете,— дежечка с тестом. Хозяйка захватывает в левый кулак из дежки ком теста и, отщипывая от него кусочки, бросает их на сковородку, где уже шипит постное масло. Поджаренные сластены складываются горкой на щербатую тарелку и подаются на стол; нам раздаются железные вилки, почти у каждой из которых не хватает по одному зубцу, и мы приступаем к еде, подцепляя сластены из общей тарелки. Вот когда они вкусны! Уха, сваренная из пойманных днем в реке окуньков и плотичек, давно забыта, и мы делаем открытие, что сильно хотим есть. Все страшно романтично и необычно! И мы — дети и взрослые — посетители в этот час тоже необычные. В других палатках только молодежь — семинаристы с барышнями. Там шум и веселье.

В городе почему-то теплее. Там светло: на перекрестках горят дуговые фонари.

На главной улице оживление: та же молодежь движется по одному из тротуаров двумя потоками взад и вперед, мимо светлых окон фруктовых лавок (это называется «ходить в проходку»). Фруктовые лавки у нас в городе почему-то все принадлежат Пилипенкам, которые даже не родственники друг другу. Но так уж повелось, что фруктами и квасом у нас торгуют только Пилипенки. В их лавках можно получить и мороженое. Для этого под окнами стоят два-три столика.

Сейчас за ними сидят те же семинаристы с барышнями. Семинаристы не обладают слишком огромными капиталами и потому заказывают для себя и барышни «одну порцию мороженого и две ложки». Но барышни довольны. Летние каникулы еще не начались, студенты еще не наехали, и потому сейчас царство семинаристов да гимназистов последних классов.

Гимназия. Реальное училище

Тогда гимназисты не были еще мудрецами. Серьезность и ученость на нас накатили к пятому классу, когда всякий считал своим долгом сделать попытку прочесть «Капитал» Маркса, а кое-кто даже проникнуть во мглу гегелевской философии: дело шло к 1905 году.

А за шесть лет до того, когда я впервые вступил в гимназию, о таких премудростях слуху еще не было. Царили другие настроения.

Эти настроения я испытал на своей шкуре в первый же день.

На большой перемене я вышел в сад и не успел дойти до середины площадки для игр, как тут же, у кегельбана, был «оскальпирован»: на меня с гиком наскочил огромный восьмиклассник — совсем, как мне показалось, взрослый, даже с усами,— туго провел вокруг моей головы деревянным ножом так, что у меня надолго осталась на лбу красная полоса, и, сделав вид, что сорвал с меня скальп (счастье мое, что я был острижен по правилу под «первый номер»), с победным кличем помчался дальше. Тут только, осмотревшись, я увидел, что сад не сад, а пампасы, где по «тропинкам войны» движутся команчи и апахи — семиклассники и восьмиклассники, обрекшие все остальные племена краснокожих и бледнолицых собак, начиная с пятого класса и ниже, поголовному истреблению.

Малыши — приготовишки и первоклассники,— совсем не принимавшие участия в этой опасной игре по малолетству, если и решались вылезти в сад, то держались в тех районах, где прогуливались, наблюдая за порядком, педеля, которых мы называли «дедушками», ибо оба они были весьма преклонного возраста — оба начинали свою солдатскую службу еще при Николае I.

Великовозрастные гимназисты — а тогда гимназию кончали юноши сплошь по двадцатому году — были увлечены Фенимором Купером и Густавом Эмаром так же, как мы потом в их возрасте увлекались Шерлоком Холмсом и Натом Пинкертоном.

Скоро я научился пробираться кустами вдоль ограды не замеченным Ястребиным Глазом, Пятнистой Пантерой или каким другим кровожадным вождем краснокожих в глубь сада, влезал на забор, если поблизости не было начальнического глаза, и любовался видом, который оттуда открывался на реку и широко раскинувшиеся поля заречья, далекие села и леса.

У моих ног, за забором, тянулся вал — остатки казацких укреплений времен Мазепы, дом которого стоял тут же: в нем теперь помещался губернский архив. На валу расставлены были пушки, современницы того же Мазепы.

Из одной из этих пушек мы затеяли выпалить. Для этого те из нас, у кого дома нашелся порох, выкрадывали его горстями у отца или старшего брата—охотника и совсем было уже набрали достаточно по нашему соображению, да сами сплоховали. Вместо того, чтобы, скопив его, сразу зарядить пушку и выстрелить, мы заколачивали его в пушку порциями, по мере того, как он добывался. Эта наша постоянная возня с пушкой замечена была Довжиком, «помощником классного наставника», как называлась его должность, что-то вроде воспитателя. Этот Довжик был пронырливой бестией и постоянно совал свой красный нос, куда не просили. Он оказывался и на галерке театра, на пьесе, которую нам не разрешалось смотреть, и на улице вечером, в тот час, когда уже не полагалось выходить из дому, и как раз на той самой, по которой возвращались с вечеринки загулявшие гимназисты. А то прокрадывался в ближайшее соседство с какой-нибудь группой гимназистов, считавшей себя в полной безопасности в своем убежище где-нибудь в глухом углу городского сада, и его настороженное ухо ловило совсем не предназначенные для оглашения разговоры. И хорошо еще, если на другой день собеседники приглашались для «внушения» только к директору, а не к жандармскому полковнику. Восьмиклассники пробовали его бить: задавали ему хорошую взбучку, накрыв шинелями. Но это ничуть не умеряло его рвения. Наконец нащупали его слабую струнку, нашли способ его обезвредить,

способ, правда, не всегда доступный, сопряженный с некоторыми тратами: его надо было подпоить. Тогда он становился кротким, мягким и забывчивым. Сколотилась даже пьянствующая компания из старших гимназистов с Довжиком во главе, созданная якобы только для его отвлечения от шпионства.

Я вспоминаю рассказы отца, который учился в московском Межевом институте, о его наставниках и педагогах. Многие из них в этих рассказах выступали какими-то допотопными, или, как говорили, дореформенными, чудищами, каких уже нет, мне казалось, и быть не может. И вот, перебирая в памяти своих учителей, я замечаю, что эти «ископаемые» к моему времени не вымерли. Да и вымрут ли когда-нибудь, приходит мне теперь в голову?

Ну разве не допотопным чудовищем был наш учитель русского языка — Юс? «Юс-средний» было его прозвище. Это был раздраженный, обозленный человек, вымещавший все свои житейские обиды на нас, первоклассниках. Казалось, нас он глубоко презирал и ненавидел. Запомнить наши имена или заглянуть в журнал он не трудился, а обращался к нам так: «Эй, ты там, черномазый болван на третьей парте, тот, что сидит рядом с белобрысым идиотом,— иди к доске!» Был среди нас очень тихий и милый мальчик, который постоянно из-за природной атрофии личного нерва слегка улыбался, наш маленький «Человек, который смеется»,— так Юс его иначе не называл, как «идиотская рожа». Тот смущался всякий раз, краснел и, конечно, ничего не мог ответить, за что неизменно получал двойку, хоть и знал урок и по другим предметам учился отлично. Когда Юсу случалось задавать нам выучить наизусть какое-нибудь стихотворение, он сначала его диктовал и так намеренно невнятно, что мы, пока не догадались разыскивать эти стихи в хрестоматии Галахова, записывали и заучивали отчаянную ерунду, за что на нас сыпались двойки, которые Юс ставил со сластью, несколько даже оживляясь в такие дни обильной жатвы. Он был не единственный «издеватель» над беззащитными гимназистами — попадались и другие. Этим отличались особенно учителя латыни и греческого.

Но среди монстров были и совсем кроткие фигуры, даже несколько убитые богом, как наш гимназический учитель физики. Он был как-то странно отгорожен от мира: не человек в футляре и не мечтатель, а вместе с тем казалось, что между ним и всем остальным миром нависла какая-то грустная завеса. Он не замечал ни шалостей, ни шума и беспорядка, которые неизменно царили на его уроках в классе. Ему можно было отвечать одно и то же, один всем классом вытверженный урок, на все его вопросы, и он оставался доволен, лишь бы ученик говорил, не останавливаясь. «Расскажите о теплопроводности»,— спрашивал он, например. «Прежде чем говорить о теплопроводности, скажем несколько слов о термометре,— говорил ученик.— Термометр, ртутный, обыкновенный, состоит из шкалы, на которую нанесены деления...» И так целый урок на все вопросы ему рассказывают о термометре и получают пятерки. Раз как-то, как только он вошел в класс и уселся в кресло, все гурьбой обступили его стол, как это всегда бывало, и завладели журналом, чтобы посмотреть, какие отметки поставил всем батюшка на предыдущем уроке. Один из учеников принес в класс воздушный шар — обыкновенный маленький детский красный шарик. Он тоже потянулся через плечи заглянуть в журнал, а шар держал за спиной. Затолкали его или он сам, увлекшись журналом, зазевался, только шар вырвался у него из рук и — щелк — стукнулся в потолок. Это уже была шалость сверх меры — приносить в класс игрушки и забавляться ими на уроках. Все примолкли и даже сели по местам, боясь, чтобы гроза наша, инспектор,

имевший обыкновение гулять по коридору, не заглянул в стеклянную дверь. Как ни странно, Лавр Михайлович заметил на этот раз общее смятение и, следуя за взглядами всех, поднял голову к потолку, отодвинулся с креслом немного назад и стал смотреть на шарик. Так прошло несколько минут в полном молчании. Наконец учитель произнес: «Ну от! Шворочка коротенькая — как же вы его достанете?» Тут началось всеобщее оживление, все повскакивали с мест: «Достанем, достанем!» Мигом принесли щетку на длинной палке, после довольно долгой (и ненужной, а только для веселья поднятой) возни достали шар и преподнесли его Лавру Михайловичу. «Ну от, а на что же он мне?» — «Вы же о газах в шестом классе читаете?» — «А читаю».— «Про шар воздушный рассказываете? А шара-то у вас нет?» — «А нет!» — «А вот вам шар!» И после урока открылось торжественное шествие: впереди — дежурный с шаром, довольный тем, что может открыто нести такую незаконную в гимназическом обиходе вещь, за ним учитель, а дальше весь класс гурьбой. И шар был торжественно водворен в физическом кабинете в шкаф, под замок.

В другой раз на уроке космографии ученики вдруг подхватили кресло с Лавром Михайловичем и начали носить его вокруг стола. «Что вы делаете, что делаете?» — «А это Земля вращается вокруг Солнца, как вы рассказывали».— «А, Земля... Так не так, не так! В другую сторону!» И его поташили вокруг стола в другую сторону.

Это все из рассказов старших товарищей. Для меня уроки физики начались уже в реальном училище, вновь открытом в Чернигове, куда лучших учеников, в том числе и меня, переманил из гимназии новый директор училища, бывший гимназический инспектор.

Учитель физики в реальном училище читал свой предмет, как профессор. А физический кабинет оборудовал так, как нигде в других училищах. Для этого он пускался даже на обман: выписывал по каталогу какой-нибудь прибор без частей особо дорогих, а потом выпрашивал у директора новую сумму уже на эти части, ссылаясь на то, что без них прибор ни на что не годен. Директор выходил из себя, но принужден был давать еще денег на кабинет сверх сметы.

Допотопных фигур среди педагогов реального училища уже не оказывалось; большинство из них было вполне на своем месте. А кое-кто из них даже пользовался среди нас большой симпатией. На первом месте — учитель немецкого языка, молодой, только что кончивший курс в Гейдельберге. Сначала он веселил нас шутовскими выходками на уроках, особенным смешным языком, каким говорил с нами. А потом оказалось, что он не только гаер, но и очень умный и образованный человек, особенно в той области, которой нам, реалистам, не хватало — в области классической древности и западной литературы, не позже, правда, эпохи Возрождения. О Данте и Петрарке он мог говорить когда угодно и сколько угодно. Во всем этом он нам, вернее желающим из нас, очень помог, направляя наше чтение и снабжая книгами.

А когда к нам приехал из Киева на целый сезон хороший оперный ансамбль, Орест Маркелович (конечно, мы его звали Оркестр Макаронович) постарался пробудить в нас интерес к музыке, которую, оказывается, и любил, и знал, да и сам был недурным скрипачом (я с ним потом играл в квартете). И даже сам покупал билеты тем, кто не имел на что пойти в театр.

До этого мы слышали в театре музыку только в антрактах да перед началом представления. А давались на нашем театре исключительно драмы, и самые, конечно, раздирающие, вроде «Кина», «Карла IX», «Уриэля Акосты». Играл оркестр Козуба.

Этот Козуб был одной из самых популярных личностей в городе. Днем в самом затрапезном виде, в старом, засаленном лапсердаке и без воротничка он торговал нотами и музыкальными инструментами в своем магазине. Домашнее хозяйство его было устроено как-то так, что все оно вместе с многочисленным козубовским потомством мал мала меньше и растрепанной мадам с кастрюльками выворачивалось из внутренних апартаментов в магазин и обрушивалось на редкого покупателя, которого обступала детвора и охватывал кухонный чесночный чад, чуть только он переступал порог. Зато вечером Козуб преображался. Правда, потертый фрак сидел на нем не лучше засаленного лапсердака, а белый галстук, из которого торчала его лысая головенка с красными трахомными глазами и очками на кончике носа, был помят и грязен. Но по всем манерам это был уже не просто торговец нотами, а великий маэстро. С таким видом он и подымался на свое дирижерское место, величественно раскланиваясь в ответ на неизменные бурные аплодисменты. Публика кричала: «Козуб—«Поезд», «Поезд»!» Но Козуб никогда не исполнял «Поезд» сразу, а приберегал его для последнего антракта. Это был галоп, изображающий движение курьерского поезда и исполнявшийся со всеми железнодорожными атрибутами: кондукторскими свистками и станционным колоколом. Публика была в восторге, топала ногами и кричала: «Бис, бис!» Но галоп никогда не повторялся, чтобы не ослабить впечатления. Козуб только раскланивался на все стороны. Весь козубовский оркестр состоял всего-навсего из восьми или десяти музыкантов. И что это были за музыканты — одно горе! Но и среди них нашелся талант. Этот тихий, печальный еврей играл потом на альте в нашем квартете, где Орест Маркелович играл первую скрипку, а я вторую. Он оказался тонким и даже образованным музыкантом и очень хорошим скрипачом. Как он попал в оркестр Козуба и что переживал, играя «Поезд», не могу сказать.

Самым уважаемым и действительно замечательным преподавателем в нашем реальном училище был наш учитель математики. Такого педагога, как Виталий Зиновьевич Рабцевич, я не встречал никогда и, вероятно, не встретил бы, если бы проучился в училище не семь, а семьдесят раз семь лет.

Он не просто умел внушить знания ученикам, сделать так, чтобы всякий их усвоил легко и прочно. Этим владеют многие педагоги, и он обладал такой способностью в высшей мере. Не только это: он умел из самого предмета сделать нечто удивительно стройное, ясное и красивое; нечто, сказал бы я, совершенно соблазнительное, что хочется знать, запомнить навсегда. Я много встречал и встречаю людей, которые признаются в том, что не любят математики. Меня всегда особенно удивляют такие признания со стороны художников. Художник не может не любить математики. Наоборот, он должен быть хорошим математиком, иметь к математике склонность от рождения, ибо эта склонность — одна из сторон его дарования. Без нее в искусстве ничего не построишь.

Среди нас, его учеников, не было таких нелюбителей математики, не было даже равнодушных, а были только более или менее увлеченные ею.

Когда мы добрались до седьмого класса, как раз там введены были начатки высшей математики: введение в анализ бесконечно малых величин и аналитическая геометрия. Учебников еще не было, и Виталий Зиновьевич за лето составил записки и в начале курса вручил нам каждому литографированный экземпляр их. Очень жалею, что эти записки у меня не сохранились: это был сжатый, стройный, красивый курс, который просто читать было большое наслаждение.

Другие преподаватели — да и мне это казалось одно время — находили, что он слишком упрощает, вульгаризирует математику. Но это было вовсе не то — и они в этом потом убеждались. Эта «простота» не была упрощением: она была только результат ясного и сжатого до предела изложения.

Аналитическую геометрию Виталий Зиновьевич называл «поэзией математика» и всякий раз, выводя уравнение кривой, приходил в состояние какого-то экстаза, который и нам передавался, и потом, немного смутившись такого своего подъема, говорил, как бы извиняясь: «Ну я не знаю, право! Ну если это не красиво, то что же такое тогда красота!»

Шевельнул я свою память — и вот на меня надвигаются опять, как всегда, не столько события и лица, как ощущения. Как во сне иногда: вдруг я маленький гимназист, сейчас меня вызовет учитель, а я не могу вспомнить ни одного слова из сегодняшнего урока. Эта беспомощность и волнение так живо ощущаются во сне! Вот и сейчас, вспомнив гимназию, я почувствовал себя приготовишкой — маленьким, беспомощным, отданным на милость учителей и старших гимназистов. Целый мир особых ощущений! Вот я ясно слышу запах мокрого сукна: во дворе дождь, а зонтик не принято с собой брать,— мы не бабы! Пальто тоже еще рано надевать: задразнят, если станешь кутаться раньше времени. Вот и сидишь все первые уроки, просушивая на себе куртку! От всех валит пар, весь воздух в классе пропитан запахом распаренного, мокрого сукна.

Этот «дух» приводит меня в раздевалку, где мы с Жоржем Христодуло прячемся на переменках среди мокрых шинелей, чтобы никто не мешал нам строить смелые планы наших будущих путешествий, в которые мы отправимся, как только построим «Наутилус»,— это будут подводные плавания. Жуя купленные в буфете трехкопеечные пирожки, мы составляем маршруты и списки того, что возьмем с собой, попутно обсуждаем и приключения, которые нам повстречаются на пути.

Когда я вспоминаю товарищей, с которыми дружил за все восемь лет своего пребывания в гимназии и затем в реальном училище, то я замечаю, насколько все они разны по своему уму, склонностям, характерам. Вот уже растерялся бы тот, кто захотел бы судить обо мне по формуле: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

В то время я много читал, и всегда одновременно по четыре-пять книг — такая у меня была манера. Дома находили такое чтение беспорядочным, а я считал его очень удобным и целесообразным: я брал всякий раз такую книгу, каково было мое настроение, к чему в эту минуту лежала моя душа. То это был хороший серьезный роман вроде «Анны Карениной», которую я до сих пор перечитываю от времени до времени; то научная книга по той же астрономии, которую я не забывал, или по математике (мне большое удовольствие, например, доставили работы Пуанкаре); то диалоги Платона; а то и совсем что-нибудь легкое вроде Джером Джерома. Не могу же я быть всегда одинаково настроен на что-нибудь, скажем, только серьезное? Вот и приходится держать параллельно несколько начатых книг.

То же было и с товарищами: с одним мы вели углубленные беседы на общественно-философские темы; с другим, как сказали бы теперь, «шпанили» по улицам, задевая знакомых и незнакомых девиц; с третьим охотились, а когда не было охоты, стреляли до самозабвения по разным самым замысловатым мишеням; а с четвертым уплывали по реке на лодке. Последний был мне наиболее близким другом в то время — в пятом классе реального училища. Мы с ним вели и серьезные беседы на разные «глубокие» темы.

Мы так с ним «сгреблись», что никакая другая лодка не могла обогнать нашу двугребку, которую мы брали на лодочной станции под за-

клад наших поясов: мы вырывались из училища на большой перемене на полчаса, а без пояса не вернешься в училище, бросив где-нибудь лодку и не заплатив за прокат.

Как чудесно на реке весной, в разлив! Бесконечно широка вода, и все кругом голубое — и вода и воздух. И не только тот далекий воздух, который мы зовем синим небом, а и тот, что обступил кругом, весь пронизанный солнечными струйками: его нельзя не чувствовать все время и хочется дышать глубоко, хватать его большими глотками, чтобы закружилась голова и стало легко-легко, чтобы земля не тянула к себе больше, потому что везде только вода, воздух и свет!

Иван Иванович

Он приезжал в Чернигов ранней весной, еще до разлива реки. Если только приезжал! Далеко не всякий раз находились на это средства. Тогда приходилось держаться там, где можно призанять, где были друзья, и только мечтать о весне в Чернигове.

Впрочем, мечтать Иван Иванович был не мастер: трезвый реалист не только в своем искусстве, он жил всегда сегодняшним днем, не думая о будущем, не вспоминая прошлого и не жалея ровно ни о чем.

Он приезжал — и возобновлялись наши уроки. Если честно говорить, то Иван Иванович был единственным моим живым учителем. Мертвецов было достаточно: некоторые из итальянцев, особенно постарше, а из более поздних — Мельци, в эрмитажную Коломбину которого я был долго влюблен; многие голландцы (ван Гойен, например, Кейп); кое-кто из японцев. Еще больше было любимых современников или почти современников (Ренуар, Сезанн, Ван-Гог, Вламинк...). Но разве можно сказать, чтобы я был послушным учеником или верным последователем кого-нибудь из тех, что я сейчас назвал? Так же и Иван Иванович: от него я не перенял его искусства. Да он и не ставил такой задачи. Тем более что сам к началу наших уроков стал уже понемногу забрасывать живопись. На уроке он следил больше, так сказать, за «дисциплиной труда», внушая мне честное отношение к натуре прежде всего, заставляя меня убедиться на деле, что искусство — труд, и не легкий, а не веселое занятие для приятного щекотания нервов. «Что это вы сегодня размахались? — говорил он мне, когда я в какое-нибудь воскресенье в благодушной рассеянности водил углем по бумаге.— Натура не любит такого генеральского отношения к себе. Смотрите, как бы она вам не отомстила. Да уж и мстит! Взгляните-ка, что вы тут наплели. Куда это у вас расползлась эта форма?»

Как-то он писал этюд на нашем огромном дворе, что с ним теперь нечасто случалось. Я смотрел ему через плечо. Была весна, стояла пасхальная неделя. Зелень была, как пух. Только что прошел весенний быстрый дождик. Иван Иванович набросал на маленьком холсте в своем ящичке, который он называл почему-то «тюлилейкой», домик, видный сквозь открытые ворота, небо еще все в обрывках туч, забор и уходящий чуть в гору песчаный тротуар. Все это, как мне казалось, было только намечено — легко и светло. И, что меня особенно удивило, как-то слишком цветно: мокрая крыша, блестевшая на солнце, лимонно-желтая, забор сиреневый, дорожка розоватая. И всюду оставались рыжие линии рисунка. Иван Иванович всегда сначала намечал рисунки жидко разведенной мумией (этот коричневый, как я вспоминаю сейчас, был очень красив рядом с лимонно-желтым и розовым). И вот хоть этюд и казался мне неестественно красочным, но вместе с тем все на нем было очень похоже на правду, даже как-то вещественно. Конечно, Иван Иванович не был импрессионистом. Импрессионизм он посчитал бы ругательным сло-

вом в применении к своей живописи. Но в этом наброске вылилось для него невольно то, что тогда носилось в воздухе и донеслось уже даже до Москвы. Потом он одумался бы и, оттолкнув первое чувство, все бы подсерил, подчернил, повинуясь дурной традиции, в которой был воспитан в Московском училище живописи. Но этюд так и остался в этой первоначальной стадии; нас позвали обедать. Так и висел он у меня на стенке знаменем незнакомого мне по названию импрессионизма.

В эту пору, когда Иван Иванович почти совсем отошел от живописи, а фотография еще не овладела им совершенно, я любил совершать с ним прогулки за город. Он остался, так сказать, живописцем на словах. Наблюдательность-то его была при нем, он только отчаялся перенести природу на холст.

Мы выходили рано утром и бродили весь день в таких местах, которые кого другого вовсе ничем не заинтересовали бы. Да и я ничего не видел вокруг замечательного, пока Иван Иванович вдруг не остановит меня и, сделав из своих ладоней шоры около моих глаз, не повернет мою голову куда-нибудь вправо. И вот внезапно передо мной возникал удивительной цельности и выразительности пейзаж: узор березок, бугры, по которым они расставились и между которыми еще кое-где лежал не успевший растаять снег, и бежали из-под него сверкающие ручейки — все вместе связывалось в прочную композицию, скрепленную, казалось, нитями солнечных лучей, легко проникающих в безлистную еще рощу! И забавно: стоило только сделать три-четыре шага в сторону — и пропадала вдруг вся стройность композиции, все становилось случайным, путаным.

Меня занимала такая игра и все хотелось проникнуть в тайну, которой так счастливо владел Иван Иванович, легко находивший чудесные пейзажи в самых, казалось бы, неживописных местах. Я сам стал делать такие опыты и с тех пор привык, присматриваясь ко всему кругом, компоновать, так сказать, на ходу пейзажи и живые движения людей, запоминая, складывая все это до поры где-то на дне памяти. Из игры это стало привычкой, а потом каким-то профессиональным проклятием.

Вот Иван Иванович, шедший всегда впереди меня своей легкой, несмотря на тучность, пружинистой походкой, вдруг пригибался к земле: «Посмотрите-ка, какой занятной, редкой расцветки анемон! Да как рано он вылез из земли! Надо запомнить хорошенько место и прийти сюда осенью с лопатой». И он, заметив невдалеке какую-нибудь особенно корявую березу или ольху, отмеривал от нее шагами расстояние до анемона и даже записывал, зачерчивал все на бумажку, если таковая оказывалась у меня в кармане.

Он знал имена всех лесных и полевых, самых незаметных даже травок и любил их, я уверен, больше, чем людей, которые для него всегда были только средством, материалом. Во всяком случае я никогда не слышал, чтобы о ком-нибудь он говорил с участием или заботился так, как о каком-нибудь комнатном растении, которое дарил кому-нибудь черенком, а потом с нежностью следил за его ростом.

Исчезал Иван Иванович из нашего дома так же внезапно, как и появлялся в нем. Жду я его в какую-нибудь пятницу на урок. Он обещал еще принести мне книжку, взятую у знакомых. Но его нет и нет. Наступает воскресенье, и я, прождав его напрасно и в этот день, иду к нему сам и узнаю, что еще в четверг на той неделе он уехал.

И вот проходит год и два, и, как раз когда о нем совсем перестают вспоминать, открывается дверь и появляется Иван Иванович все в той же русской рубахе и домашних туфлях с таким видом, как будто отсутствовал не больше двух дней. С первых слов кажется, что продолжается прерванный позавчера разговор, только как-то мимоходом обнаружи-

вается, что он за это время успел побывать... на Кубе — ни более, ни менее! Ему удалось убедить одного своего скучающего знакомого, богатого тамбовского помещика, что тому совершенно необходимо съездить в Америку и как раз на остров Кубу. Тот поверил и поехал, прихватив, разумеется, и Ивана Ивановича с собой. Скоро скучающему помещику и на Кубе стало скучно, и он, как будто даже совсем поссорившись с Иваном Ивановичем, спешно уезжает домой, а Иван Иванович скитается еще некоторое время по Испанской Америке — на какие уже теперь средства, этого он не рассказывает. Да и вообще рассказывает, как всегда, мало и как-то неохотно; ничего особенного, ну, бананы, пальмы — как на картинках и фотографиях, которые всем известны; солнце печет — ну, так и у нас на Украине летом не холодно; а люди? Что ж! Люди как люди: они везде одинаковы. Слушаешь и думаешь: «Нет, не был человек на Кубе!» Только что куча фотографий, которые он там наснимал, да то, что Иван Иванович никогда не врал: просто не давал себе труда кривить душой и всем всегда, не стесняясь, говорил в лицо, что думал.

Из этого путешествия он, кроме фотографий, привез и фотоаппарат, прекрасный вераскоп, принадлежавший тому же тамбовскому помещику. «Да на что он ему, дураку! Что он с ним станет делать? Не в коня корм! Мне-то он больше кстати».

Через несколько лет в Москве, в Училище живописи, я разговорился с одним своим товарищем, с которым очень сблизился к этому времени, о преподавании живописи, о наших учителях. Он сознался, что наши школьные профессора мало чему могут научить. «Единственным моим учителем,— сказал он,— который мне много дал, был художник Михайлов, Иван Иванович, старый друг нашего дома. Он периодически появлялся в Москве, у нас в доме, и тогда давал мне уроки».

Из его дальнейших рассказов мне показалось, что «его» Иван Иванович что-то уж слишком похож на «моего» — и не по одному только имени. В каком-нибудь романе, где все должно быть естественно, такое совпадение показалось бы не только маловероятным, но просто неловкостью или даже дурным вкусом автора. Но в жизни, где достаточно невозможного и невероятного, почему бы и не случиться так, что сошлись вдруг два единственных ученика Ивана Ивановича?

Оказалось, что когда Иван Иванович не жил у нас в Чернигове, то гостил у них в доме, в Москве, а когда уезжал от них — так же внезапно исчезая, как и из нашего дома,— то только в тех случаях не попадал к нам, когда его судьба заносила куда-нибудь на Кубу.

В Москве я испытал новое удовольствие — ходить с Иваном Ивановичем по выставкам. Это было не хуже наших прогулок весной по черниговским окрестностям. Среди картин он делал такие же открытия, как и среди березок, находя никому не заметные анемоны. «Отвернитесь-ка на минутку от ваших пустоцветов и посмотрите на эту маленькую вещицу. Я уже второй раз вижу этого скромного человечка на скромном месте у самой двери. А помяните мое слово: через два-три года он будет в первых рядах». И я не помню случая, чтобы так не сбывалось!

А сколько он разбил мне кумиров! Поставит перед картиной, посравнит с соседями, напомнит кого-нибудь из стариков — голландцев или барбизонцев — и нет прежнего обаяния: свалилось божество с пьедестала!

Подусовка

В сущности, окрестности Чернигова не живописны.

Приятно лежать где-нибудь на траве под стогом сена или еще лучше под яблоней, смотреть сквозь ее ветви на далекое густо-синее небо, следить за тем, как надвигается вечер, бледнеет синева неба, а само оно

уходит все глубже ввысь, зажигается в нем первая, едва заметная глазу звездочка, и уже пролетел, звеня, июльский хрущ. Дьявольски хорошо! Хочется лежать так бесконечно и впитывать все это счастье всем своим существом, но чтобы встать, взять кисти и краски и попытаться изобразить все это великолепие на холсте — не подымаются руки! В чем дело? Что-то тут да есть же! Ведь есть же прекрасные пейзажи русского Севера и тех мест, что называются средней полосой России. А Украина так же, как и Крым, почему-то не вдохновляет настоящих художников.

Окрестности Чернигова не живописны и с обывательской точки зрения. Вокруг Чернигова пейзаж плоский, пустоватый. А принято считать красивыми только те места, где чего-нибудь наворочено побольше: горы, обрывы, стремнины или грандиозный дремучий лес.

Красиво то, по общему мнению, что попышней украшено. Если фасад дома загружен пилястрами, раскреповками, картушами, балконами («бельведерчики и балкончики», которыми так восторгался Стасов в современной архитектуре!), значит, здание красиво! А если еще эти украшения драгоценны (мрамор, мозаика, майолика), то оно замечательно и достопримечательно. Красота только соотношений архитектурных масс, если они просты, немногосложны,— непонятна. Это ж, говорят, «казарменная архитектура».

Как-то, проходя в Москве по площади, где когда-то был Охотный ряд, я остановился да посмотрел кругом. Какая путаница! Безличное новое здание СТО, совершенно задавившее «благородное собрание»,— нелепый дом между Дмитровкой и Театральной площадью,— Большой театр, «готика» Мюра и Мерилиза, ни к селу, ни к городу -- модерн «Метрополя»! Какой странный ансамбль, и вдруг среди всего этого хаоса мелькнуло что-то приветливо-ясное. Это простое, ясное, поистине человеческое оказалось стеной Малого театра: гладкая, спокойная, совершенно лишенная украшений поверхность, законченная справа и слева глухими портиками! Как просто!

Простота эта, впрочем, не совсем простого свойства. В ней запрятаны искания многих периодов архитектуры, результатом которых явилось умение, оперируя одними соотношениями масс, освобожденных от мелочности украшений, излагать человеческую мысль с полной выразительностью.

Сжатость изложения, простота и ясность композиции мне так же милы в архитектуре, как в литературе и живописи, с тех пор как мне случилось стать перед фасадом Английского дворца в Петергофе. Я тогда впервые почувствовал, как много можно сказать и как полно можно выразить свою мысль в простых формах, не раздвигая их до грандиозных размеров, не нагромождая обилия колонн, ваз и статуй.

В пейзаже я тоже всегда предпочту простые, даже оголенные, но хорошо организованные формы беспорядочному нагромождению всяческих красот природы, тех, что обычно привлекают всех,— красот не зрительных, а литературных, о которых говорят: «Посмотрите, посмотрите, как нависла эта скала — вот-вот упадет! Ах, как красиво!» Или: «Как должно быть чудесно вон там, в лесной чаще! Так и манит ее прохладная тень. Как красиво!»

Я не очень люблю южный берег Крыма, красивый именно такой манящей красотой, ласкающей все человеческие чувства, но совершенно пленен пейзажем восточной части Крымского полуострова, той Киммерии, которую воспел стихами и всей своей жизнью Максимилиан Волошин и которую один замечательный московский художник назвал «богом проклятой страной».

Да, это суровый, иногда даже жестокий пейзаж библии, превзошедший все вымыслы Дорэ. Этот пейзаж не щекочет нежно зрителя, но

захватывает, почти подавляет его своим величием, своей строгой цельностью.

В черниговском пейзаже нет ни манящей ласковости, ни сурового величия.

С высоты вала — широкий простор полей, куда ни глянешь, до самого горизонта, где темнеют полосы очень далеких лесов да едва заметен ряд хат и церковь далекого села Анисова; это село летом ежегодно горит: то один ряд хат выгорит, то другой — через улицу. Среди полей сверкает в однообразных пустых берегах Десна, прекрасная литературной красотой, красотой переживаний (на лодке под палящим солнцем и при луне!), а не красотой созерцательной, зрительной. Весь пейзаж какой-то односложный, все как-то одинаково, с какой бы стороны ни стояло в небе солнце.

По другую сторону города, за «Заведением» и кладбищем, те же широкие, необозримые поля, по которым течет широкой песчаной рекой шлях, обсаженный кое-где вербами и отдельными грушами, круглые темные кроны которых далеко, к самому горизонту, отмечают изгибы шляха.

Если идти по этому шляху и выбраться за последние, уже редкие дома и сады, то скоро, через несколько сотен шагов от него, отойдет влево стежка, которая через поле потянется к недалекому лесочку. Этот лесок — Подусовка. Обставленный по опушке березками, внутри — это сосновый бор. Стоят огромные прямоствольные сосны, своими вершинами составляя бесконечный свод (вот еще литературная красота: «как в готическом храме!»), под ними слегка волнистая поверхность земли покрыта толстым слоем старых игл.

И четверти часа не пройдешь по этому ковру, как уже конец лесу и земля внезапно обрывается крутым, глубоким склоном, поросшим дубами, липами и кленами. А там, за их вершинами,— опять те же бесконечные поля, те же темные шары одиноких груш вдоль невидимых проселков. А в глубине, у самого неба, все затянуто легкой синеватой дымкой, сквозь которую не столько видны, сколько угадываются плоские, обрывистые холмы и леса за ними.

И странно: это уже не те поля, что видишь с открытого места, когда сам стоишь в поле. Здесь, с высоты, между вершин дубов и лип все смотрится совсем по-иному. Нужны кулисы, нужен первый план, чтобы оценить глазом глубину пространства. Нужен контраст: здесь передо мной подымаются из обрыва ввысь огромные деревья, а там, за ними, вглубь уходят поля. (Как-то мне случилось увидеть из двери темного магазина знакомую с детства улицу, и она мне представилась совсем иной, чем когда смотришь на те же дома и прохожих, идя по тротуару. Все показалось как-то более организованным по планам и даже более определенным, более ясным по цветовым отношениям.)

Этот пейзаж со своей всегда туманной далью очень мне полюбился. Он чем-то напоминал мне те пейзажи, что писали за плечами своих мадонн художники итальянского кваттроченто. И даже, пожалуй, не кваттрочентисты, а те эпигоны Рафаэля и Леонардо да Винчи, которые, зная всю премудрость высокого искусства золотого века, вдруг становятся неловкими, даже наивными, как Луини, например.

Этот пейзаж написал и я в фоне того портрета, за который получил, кончая Училище живописи, звание художника. Там он едва выступает из тумана, всегда мной любимого, который на этот раз должен был стать в контраст с четкой живописью лица и рук.

Сюда, в Подусовку, единственное отрадное место под Черниговом, как говорила моя мама, мы выезжали иногда по воскресеньям на целый

день большой компанией вместе с нашими друзьями — докторскими ребятишками и их родителями, нашими соседями, и располагались пикником на краю этого спуска, откуда открывался мой любимый «итальянский» вид. Это место у нас называлось «горкой доктора Ковальского» или просто «Ковальской горкой», как ее стали звать все в городе, потому что честь открытия этих красот принадлежала доктору Ковальскому.

Мы жили тогда у самого «Заведения». Полное название этого учреждения было «Богоугодное заведение», а из гоголевского «Ревизора» уже известно, что это значит — это была огромная земская больница. Докторский поселок ее примыкал к нашей усадьбе, так что сад доктора Розенеля граничил с нашим. Сквозь забор мы сдружились с докторскими детьми, и тогда в этом заборе была сделана для удобства сообщения калитка.

При детях доктора Розенеля всегда находился в качестве добровольного дядьки какой-нибудь помешанный, которому в известных пределах предоставлялась свобода. Такой сумасшедшенький, алкоголик или эпилептик, между припадками иногда даже почти нормальный человек, все такие дни свободы проводил в докторском саду или на докторской кухне, помогая по хозяйству и исполняя с великой готовностью всякие поручения. Доктор Розенель был не только непререкаемым авторитетом среди своих пациентов — они его любили до обожания. Один такой сильно преданный доктору тихопомешанный старичок, очень юркий и суетливый, по имени Петр Алексеевич, особенно старался быть всячески полезен в докторском хозяйстве. Он не только с великой радостью исполнял всякие поручения, которые для него приходилось даже выдумывать, но часто добровольно возлагал их на себя, действуя где-нибудь в интересах доктора по собственному почину и доставляя этим всем его домашним массу хлопот.

В один прекрасный день он заявился как-то в губернаторский дом и проник докторским именем к самому губернатору. Неудивительно: доктор Розенель был в нашем городе в высшей степени популярен; горожане уважали и любили его не меньше, чем его сумасшедшие.

Я помню наш восторг, когда новый учитель словесности в реальном училище на первом своем уроке сказал одному из учеников: «Если вы, молодой человек, изречете еще хоть одну такую великую истину, то вас придется отправить к Розенелю». Вот как! Человек только третьего дня прибыл в наш город, еще не осмотрелся как следует, а уже знает, кто такой Розенель. Это значит, что имя нашего «сумасшедшего» доктора можно было слышать везде — на улице, на базаре,— где только оказывались повздорившие между собой люди, один из которых хотел назвать другого сумасшедшим: в таком случае у нас выражались иносказательно, предлагая своему собеседнику отправиться к Розенелю.

Губернатор принял посла доктора Розенеля сразу же. Это были те патриархальные времена, когда на весь наш губернский город было всего-навсего двенадцать городовых, да и тех половина только числилась городовыми и, получая оклад по полиции, служила у губернатора кучером, поваром, дворником, лакеем и садовником.

Когда лакей ввел Петра Алексеевича в кабинет губернатора, он, выражаясь в высшей степени изысканно, даже витиевато и очень многословно (как всегда, если только не накладывал на себя временного обета молчания, когда только разводил руками и показывал себе на рот), передал господину губернатору и его супруге привет от доктора Розенеля и просьбу прислать из губернаторской оранжереи цветов побольше, так как Альфред Германович Розенель празднует свой день рождения и ждет к себе много гостей. Губернатор слегка пожал плечами, посчитав, что врачу сумасшедших и самому естественно иметь некоторые странно-

сти, но приказал садовнику отпустить посланному доктора цветов, сколько ему потребуется.

И вот торжествующий Петр Алексеевич появился под окнами розенелевского дома с целой подводой, нагруженной всякими цветущими растениями. Альфред Германович как раз выходил в это время из дому. И тут между ними произошел такой разговор: «Что это значит, Петр Алексеевич? Откуда эти цветы?» — «Это вам, Альфред Германович, господин губернатор присылает их ко дню рождения!» — «День моего рождения еще очень не скоро, Петр Алексеевич, а у губернатора вы, конечно, просили цветов сами, да еще от моего имени».— «Да, да, да! Конечно, конечно! Именно, именно! Я передал господину губернатору и его супруге в самых изысканных выражениях привет от вас, а также просьбу о цветах, на которую, как видите, господин губернатор отозвался с большой любезностью и весьма щедро».— «Петр Алексеевич! Будьте добры, пройдите теперь в отделение и попросите от моего имени, чтобы вас заперли».— «Слушаю, Альфред Германович!» И Петр Алексеевич повернулся кругом и поспешил в отделение исполнить приказ доктора о своем заточении.

Альфреду Германовичу никогда не приходилось применять к тихим помешанным каких-нибудь особенных мер воздействия: они с первого его слова становились кроткими и слушались его беспрекословно.

Я любил слушать его разговоры с больными. Одно время я дружил с молодым человеком — эпилептиком, столяром по профессии, и часто бывал у него в одном из чистеньких и светлых домиков, стоявших среди огромных лип, где жили тихие, безвредные для окружающих помешанные, а также алкоголики и эпилептики. Тут-то мне и пришлось, спрятавшись в соседней комнате, понаслушаться бесед доктора с больными во время обхода. Больше же всего мне понравился Альфред Германович на спектакле в «Заведении», устроенном для больных силами их же самих: все роли играли сумасшедшие, декорации писали сумасшедшие, хор был составлен из сумасшедших, и в оркестре сидели сумасшедшие! А на контрабасе играл сам «бог»! Тот «бог», который ежедневно писал длиннейшие письма на огромных листах бумаги архиерею, губернатору, голове и всем другим городским властям. Среди дикой путаницы, навороченной в этих письмах, писанных церковным стилем («бог» был когда-то священником), можно было уловить одно неизменное требование: прислать немедленно «богу» шесть тысяч рублей. Иначе проклятие навек и геенна огненная. Теперь «бог» пилил на своем контрабасе с величайшим увлечением и с выражением такого наслаждения и счастья, как ребенок, которому досталась наконец любимая, долгожданная игрушка. Случалось, что на сцене уже шел разговор, а хор и оркестр давно уже замолкли и один только контрабас в самозабвении гудел. Но это никому и ничему не мешало, не нарушало цельности впечатления, как и внезапное появление на сцене некоторых действующих лиц, которым в это время быть там не полагалось, но которые непременно хотели принять участие в действии и никак не могли дождаться своего выхода.

Пьеса была, конечно, украинская, шла на украинском языке и кончилась, как полагается, общими танцами, которые стали почти всеобщими, так как затанцевал чуть ли не весь зрительный зал. Альфред Германович сиял и радовался, как ребенок, ничуть не меньше своих больных. Я даже стал бояться, как бы и он не пустился в пляс. Но вышло иначе, и тут обнаружилось, в какой напряженной атмосфере все происходило и насколько сам доктор был все время в высшей степени начеку. К нему подошел один душевнобольной, совсем молодой человек, студент, и очень мило, изысканно-вежливо стал с ним беседовать. Когда же доктор по окончании разговора повернулся к нему спиной, сту-

дент вдруг вцепился ему в загривок. И тут вдруг поднялся общий гик и вой, как будто нападение студента на доктора было заранее условленным сигналом общего восстания. Весь зал разделился на две партии — за и против доктора,— и уже засверкали глаза и потянулись руки. И кончился бы спектакль после веселых танцев общим побоищем, если бы не присутствие духа у доктора. Он не сделал ни одного движения, даже не попытался высвободиться (хоть потом и оказалось, что шея доктора была сильно изранена, и он долго еще ходил с повязкой), а спокойно обратился за помощью к самому буйно настроенному сумасшедшему, ставшему уже во главе кучки, готовой наброситься на доктора. И тот сразу переменил фронт, и вся группа за ним, и все уже в зале стали за доктора, так что подоспевшим служителям оставалось только подхватить студента и, охраняя его от толпы сумасшедших, быстренько вывести за дверь. А доктор теперь стал центром общих забот, приобретавших сильно экспансивный характер.

Цыганок

Одно время, очень, правда, недолгое, я был сильно увлечен скрипкой. Отца, по-видимому, напугало это обстоятельство: не вообразил ли я, что музыка — мое призвание?

А дело уже подвигалось к окончанию реального училища, пора подумать об избрании профессии. Подымались разговоры на эту тему, и отец всячески старался отвратить меня от музыки. Если уж искусство, так куда лучше живопись. Что такое музыка? Пустое развлечение. Скрипач тот же скоморох: он только увеселяет публику. Художник же, который пишет картины, полные глубокой мысли, становится проповедником добра и правды — и т. д. и т. д.

Я уже мечтал о создании в каком-то смысле (не в живописном только, увы!) глубокого произведения, которое потрясло бы если не весь мир, то значительную и наиболее близкую мне часть его. В чем должно заключаться это великое значение живописного произведения, которое я считал своим долгом создать, если уж решил стать художником, я даже смутно не мог себе представить. Я получал журналы, посвященные искусству,— «Весы», «Мир искусства», потом «Золотое руно» — и уже поверил без оглядки Балтрушайтису и другим, что «быт умер». В том же меня уверили и Блок, и стоявший за ним Гофман. Символизм и романтизм — вот что было написано на моем щите. Я переписывал излюбленные стихи Блока в особые тетрадки-сборнички наряду со стихами Фета, украшал их рисунками в сомовском духе и посвящал сестре за неимением другой дамы.

Между мной и внешним миром вставала философия, которая для меня определялась мыслями Владимира Соловьева. Его докторская диссертация «Критика отвлеченных начал» была моим путеводителем по истории этой высокой науки.

Сейчас, когда я это пишу, мне приходит в голову, что такая моя тогдашняя установка фатально неизбежна для всякого молодого художника. Я имею в виду не романтизм, или символизм, или какое другое направление в искусстве, которому неизменно всякий принужден следовать, раз оно на очереди, но именно это квазифилософическое, мудреное отношение к задачам искусства, которое присуще всякой молодой творческой психологии, как я теперь вижу.

Наблюдений, опыта и всяческих знаний о мире накоплено еще мало, а тут как раз пора решений мировых вопросов. Потому то, что недособрано опытом, заполняется размышлениями и рассуждениями обычно самых гигантских масштабов и в ширину и вглубь. Молодое искусство

(или лучше сказать — искусство молодых) становится на ходули, подымается от земли в заоблачные высоты.

Рядом с этим идут формальные поиски, в которых тоже ставятся задачи предельной остроты, отчего искусство молодых, помимо претензии на философскую углубленность, оказывается изощренно-изысканным технически, часто даже нестерпимо манерным.

Совсем иным становится искусство художника, уже переступившего зрелый период своей жизни, приближающегося к старости. Я сказал где-то выше, что жизнь драгоценна не мечтами о грядущем великолепии, а тем, что прожито, тем, чем она уже заполнилась. Жизнь прожитая становится ценностью, а мир, в котором так многое испытано и измерено, становится бесконечно милым. Художник радуется ему просто и непосредственно, забыв все хитрые мудрствования, и стремится остановить его в своем искусстве, этот чудесный мир, таким, как он есть (для него, конечно).

Весна 1943 года. Частые бешеные обстрелы города, постоянные налеты, тревоги и днем и ночью. Не передать словами ужаса.

Насколько спокойнее (если только это слово как-нибудь сюда подходит!) я переносил все это прошлой весной. Сейчас, кажется, напряжение дошло до последнего предела.

После только что пережитой жуткой ночи нужно бы чуть отдохнуть, хоть немного прийти в себя, а ее сменяет такой же напряженный, беспокойный день, за ним опять жуткая, страшная ночь...

Казалось решенным: по окончании реального училища я еду в Москву, в Училище живописи. Родителям моим, москвичам, послать меня в Академию художеств в Петербург, где не было ни знакомств, ни связей, не могло прийти в голову. А о Московском училище разговоры были давние, еще когда я только лет шести проявил, как думалось отцу, исключительные способности, изображая маленьких человечков одними палочками и придавая, несмотря на такой лаконизм (или благодаря ему), много живости их разнообразным движениям. Помню, мы ехали откуда-то с отцом на извозчике и он сказал мне, указывая на большой дом, стоявший несколько в глубине за решеткой: «Вот здесь ты будешь учиться, когда вырастешь. Это школа живописи, ваяния и зодчества». Как теперь понимаю, мы ехали тогда мимо Строгановского училища, которое среди москвичей было популярнее школы живописи: как раз наша пролетка, безумно тарахтевшая по булыжникам, вдруг ровно и спокойно покатилась по асфальтовой мостовой, единственной во всей Москве на небольшом куске Неглинной, как раз против Строгановского училища.

На заборах и столбах главных улиц Чернигова появилось печатное объявление: «Студия классного художника П. Д. Цыганка. Уроки рисования и живописи. Подготовка желающих поступить в Московское училище живописи». Это было как раз то, что мне надо. Туда я и направился.

Меня встретил сам Цыганок с лейкой в руке. Первое, что я увидел, войдя в калитку, которую не сразу нашел в глухом высоком заборе, были прекрасные и довольно обширные цветники. Лето приходило к концу; на высоких клумбах цвели гвоздики всех цветов, левкои, махровые маки, зацветали флоксы; и всюду розы — бесконечное количество сортов и оттенков. Среди розовых кустов и олеандров стоял небольшой новый, только что оштукатуренный белый дом в два этажа, со стеклянной крышей, тут и была, вероятно, студия. А в глубине, за рядами кустов смородины, стояли два одинаковых деревянных домика с резными

крыльцами и застекленными верандами. Везде был порядок, все имело нарядный, приветливый вид.

Хозяин принял меня не как будущего ученика, а как желанного гостя (может быть, потому, что, как я узнал потом, я был первый, откликнувшийся на его объявление). Он повел меня по аккуратным дорожкам, усыпанным ярко-желтым песком, через цветники, останавливая мое внимание на самых замечательных розах, на самых громадных пестрых гвоздиках, к домику налево. На веранде, куда мы поднялись, в покойном кресле сидела чистенькая, беленькая старушка, которая мило мне улыбнулась, когда я был представлен как будущий ученик, и которую Цыганок назвал своим большим другом. Он показал мне начатую акварель, изображавшую букет белых и розовых флоксов, стоявший тут же, на столе, в простом глиняном кувшине, и спросил как-то особенно участливо, интересует ли меня акварель, охотно ли я к ней обращаюсь, назвав ее тут же «благородным» видом живописи. Потом мы прошли к белому домику, где я увидел жену хозяина — некрасивую бледную молодую женщину, полулежавшую в соломенном шезлонге на песчаной площадке перед домом. Она мне очень живо напомнила жену Борисова-Мусатова, как тот ее изображал на своих холстах среди зелени и цветов. Этому впечатлению помогали и обстановка, и широкое белое платье хозяйки со сборками и воланами, и косые лучи заходящего солнца, золотившие это белое платье, и протянутые по песку легкие вечерние тени, уже сливавшиеся в полумраке надвигавшихся сумерек.

Через особое крылечко по деревянной лестнице мы поднялись со двора прямо в мастерскую — не слишком большую комнату с верхним светом, почти совсем пустую. Здесь на мольберте стоял большой холст, наполовину записанный. Эта начатая картина изображала запорожцев на берегах Днепра, налаживавших свои ладьи для какого-то очередного набега. Около мольберта не было ни палитры, ни красок — словом, никаких следов работы; видно, мэтр давно к ней не прикасался. На этот раз в густых уже сумерках я не успел как следует рассмотреть этот шедевр.

Мы поговорили с мэтром немного об искусстве, условились о начале занятий и, как бы мимоходом, о плате за урок, и я ушел. Любезный хозяин проводил меня до самой калитки, и, когда она закрылась за мной, мне показалось, что за этим глухим забором, за рядом высоких тополей я покинул что-то вроде маленького рая, где в идиллической обстановке милые люди живут легкой, светлой жизнью без невзгод и огорчений.

Когда дней через десять я пришел в студию Цыганка на первый урок, я уже знал о моем новом мэтре и его близких всю подноготную. Скрыть что-нибудь в провинции невозможно.

Вся усадьба Цыганка принадлежала раньше и не так даже давно беленькой старушке, которую я видел на веранде в кресле. На ее средства Цыганок-юноша учился в Московском училище живописи. Окончив училище и вернувшись в Чернигов, он продолжал обслуживать старушку, требуя за это все больше и больше. На его имя была переведена усадьба, а затем и весь капитал старушки. К этому времени старушка стала уже совсем беспомощной, перестала владеть ногами, а Цыганок уже года три или четыре как был женат. И только спустя эти три-четыре года, совсем недавно жена Цыганка проникла в тайну его обогащения. Она была глубоко потрясена, может быть, не столько этим открытием, сколько тем, что он, уже женатый, не прервал прежних отношений со старушкой, пока последнее ее достояние не перешло к нему. Вот тут-то, когда все завершилось, он и открылся во всей красе. Дома, в семье, он оказался мелким тираном, скаредным, мелочным. А старуш-

ку, совсем сразив резким поворотом своего поведения, понемногу лишил самого необходимого и явно намекал, что у него не богадельня, пора и честь знать, нечего заживаться на чужих хлебах.

Так вот какова была светлая жизнь в идиллической обстановке, среди цветников, за красным высоким забором, за рядом пирамидальных тополей!

Есть люди, которые все явления окружающего мира воспринимают как-то совсем по-своему. Даже те из этих явлений, смысл которых человечеству давно известен, относительно которых давно условлено думать так, а не иначе, и те они понимают совершенно своеобразно. Эти люди живут как будто в другом мире, только параллельном нашему, но не совпадающем с нашим вполне во всех точках. Я заметил, что такие люди бывают двух категорий: или бездарно и тяжело тупые, или, наоборот, глубоко одаренные, даже гениальные. В них, в людях этих двух категорий, есть только одна схожая черта: гениальность последних так же тяжеловесна, как тупость первых.

Пример такой тяжеловесной гениальности, являющей свойства совершенно и поражающе своеобразного восприятия мира, я имел недавно перед глазами. Я имею в виду художника Петрова-Водкина, с которым одно время я часто встречался. Он любил порассуждать, а я очень любил его послушать. О чем бы он ни заговорил — о социальных ли отношениях, о физических или математических законах, об астрономии или физиологии,— он ко всему подходил с какой-то совершенно неожиданной стороны. Явления, причины которых давно известны, получали у него новое объяснение, иногда очень остроумное, поражающее глубиной и оригинальностью мысли. В эти его открытия новых причин явлений очень хотелось поверить, и часто даже жалко было, что они, эти явления, уже давно имеют в науке иное обоснование.

Толчком для такой своеобразной, в полном смысле самостоятельной работы мысли было, конечно, отсутствие школьного образования. Та же причина побуждала и Цыганка создавать свои собственные научные теории в любой области, которой ему случалось коснуться. Он, впрочем, не имел настоящей пытливости, но побуждал себя быть интеллигентным, считая это для себя, как художника и человека с общественным положением и цензом, необходимым. Но как далеки были его домыслы от какой-нибудь гениальности! Во всех своих рассуждениях он был бездарен и туп в высшей степени. С восприятием мира у него случалось то же, что с чтением: он редко мог проникнуть в содержание фразы, если она была подлиннее и посложнее, и воспринимал как-то врозь только отдельные слова. Я привез ему из Москвы только что вышедшую тогда книжку Рерберга о художественных материалах. Он как раз искал какое-нибудь такое руководство и потому был ей рад. Взяв книжку у меня из рук и раскрыв ее наудачу, он прочел вслух дословно следующее: «Пастель изготавливают в Париже только две фирмы: «Лефран» и «Буржуа». «Вот, вот! — воскликнул он.— Как это верно! В пастели в самом деле есть что-то буржуазное. Хорошая книжка! Почитаю с удовольствием». Окружающий мир так же, как фразы из книги, попадал в его сознание какими-то клочками, по поводу которых он выводил скучно-нелепые, бездарные заключения.

Зато в делах узко житейских, так сказать грубо земных, он был у себя дома, не путался и неизменно приходил к выводам себе на пользу.

Вот маленькая иллюстрация его житейской находчивости. В новом доме, где была студия, работал у него маляр, который по договору должен был получить за всю свою работу семьдесят пять рублей. Когда он пришел за расчетом, Цыганок предложил ему на письменном их соглашении расписаться в получении всей суммы, но дал ему пока

только тридцать пять рублей, сказав, что больше дома нет, что пусть тот подождет, пока он съездит в банк, возьмет там денег. И в самом деле: он тут же сел на велосипед и укатил. Наивный маляр сел на скамеечку у ворот дожидаться своих денег, в которых был уверен. Хозяин очень скоро вернулся и был, казалось, удивлен, увидев маляра, поднявшегося ему навстречу. «Что вам еще надо от меня?» — «А як же, а сорок карбованцев, яки вы мени ще повинны?» — «Якие сорок карбованцев? Что вы, маленький, чи шо? Вот же ваша расписка! Разве здесь не сказано, что вы получили все сполна?» И, толкнув велосипед в калитку, он захлопнул ее перед носом остолбеневшего маляра.

Вместе с тем, как это, впрочем, часто бывает с людьми такого типа, Цыганок легко настраивался на сентиментальный, даже восторженный лад. Только взглянув на него, я все-таки начинал сомневаться в искренности этих сантиментов. Не восторгался ли он до слез каким-нибудь закатом или нежными тонами пышного букета цветов скорее по долгу службы, как признанный художник? Все эти тонкие чувства мало вязались с его внешностью. Это был коренастый человек, нескладный, но очень прочно, даже туго сшитый, очень смуглый и черноволосый. Узкий низкий лоб; маленькие, глубоко запрятанные глазки, сверкавшие каким-то неуловимым огоньком не то хитрости, не то скрытого самодовольства; непомерно развитая нижняя часть лица: широкие скулы, массивная нижняя челюсть, толстые красные губы, которыми он, говоря, как-то плотоядно перебирал, причмокивая; массивная голова, утвержденная на короткой широкой шее настолько плотно, что совершенно лишена была подвижности; сильно развитой, как у медведя, загривок, мешавший голове подняться кверху, так что хозяин ее должен был всегда смотреть исподлобья,— вот его портрет.

В своей маленькой студии Цыганок во всем подражал порядкам и обычаям Московского училища живописи. Занятия рисунком велись в те же часы, что и там,— от пяти до семи вечера ежедневно, кроме субботы, когда занятий совсем не было,— мастерская была оборудована такими же мольбертами-подставками для рисунков, ставились те же головы Юноны, Зевса и Аполлона, и сам вел себя ни дать ни взять, как его любимый профессор Милорадович, даже слова говорил те же, поправляя рисунки. Последнюю подробность я оценил, только когда сам попал в ученики к тому же Милорадовичу в Училище живописи.

Рисование с гипсов не могло, конечно, принести мне никакой прямой пользы. Но то, что я перерисовал все головы, какие полагались по программе головного класса училища, помогло мне очень на экзамене при поступлении.

Постоянных учеников цыганковской студии было только два: я да шестнадцатилетний парень, оплачивавший уроки своим трудом — он должен был следить за чистотой в мастерской, носить дрова и делать много других вещей, которые скоро превратили его просто в дворника.

Остальные посетители студии были исключительно дамы, чаще почтенного уже возраста, почти все — по виду по крайней мере — старые девы, которые появлялись урока на два, на три, не больше, и исчезали потом, не удовлетворенные методом преподавания. Им бы хотелось рисовать акварелью с открыток цветы и пейзажи, а не глупые и белые головы в огромном размере да еще углем.

Картина Цыганка, красовавшаяся на мольберте все в том же неоконченном виде все время, пока я посещал его мастерскую, была, несомненно, навеяна репинскими «Запорожцами». Ясно было, что наш мэтр стремился создать что-то столь же значительное, только более грандиозное по замыслу: тут и широкий украинский пейзаж, и знаменитая река, и толпы фигур. Видно, что автор, создавая все это велико-

лепие, усиленно громоздился на ходули, но сверзился раньше, чем на них залез.

А сколько я видел потом признанных шедевров наших официальных живописцев,— шедевров, благополучно доведенных до конца, но столь же растерянных по композиции, беспомощных по рисунку и вымученных по колориту, как и нерожденное дитя Цыганка, к которому я все-таки питаю несравненно больше уважения, чем к этим шедеврам, именно за то, что оно, это дитя, имело совесть не появиться на свет божий.

...Июль 1943 года. Бешеные, ураганные обстрелы города. Иногда по пятнадцать часов сряду. А то редкие выстрелы с неопределенными промежутками с расчетом, что жители никак не смогут примениться к этой неровной стрельбе, что народ, успокоенный долгим перерывом, опять появится на улицах и попадет под неожиданную шрапнель.

Вспоминаются последние дни в Павловске почти два года назад, когда немцы так же засыпали наш городок снарядами, но действовали методически, обстреливая нас в определенные часы. Снаряды свистели над нашей крышей и рвались где-то совсем недалеко от двенадцати до двух днем и от семи до восьми вечером. От этих регулярных обстрелов легче было уберечься. Мы отсиживались в убежище, выкопанном в саду, где земляные стены затянуты были коврами, там лежали тюфяки и подушки. Даже спали там две ночи.

Изредка, между залпами, прибежишь за чем-нибудь домой наверх, и странно как-то покажется в квартире: все спокойно стоит на своем месте, везде тот же обычный порядок, так же звонко тикают английские часы. Молчаливое спокойствие вещей, так связанное со спокойным уютом прошлой жизни, теперь кажется неуместным, почти обидным. Как будто все эти стулья, шкафы и диваны, до сих пор тесно связанные с нашим обиходом, не хотят принять участие в новом повороте жизни, становятся изменниками, предателями.

Я поступаю в Училище живописи. Опять Москва

Подымаясь впервые по лестнице Московского училища живописи, я не испытывал того благоговейного трепета, который, мне казалось, должен был охватить меня на ступенях, ведущих в это знаменитое святилище. Уж очень все кругом было обыкновенно, не парадно, ничуть не торжественно, проще, чем в любом ничем не замечательном доходном доме.

Народ толпился в каком-то подобии не слишком просторного вестибюля, откуда двери вели в конференц-зал, канцелярию и коридор, из которого попадали в классы. Часть этого вестибюля (или сеней) была отгорожена железной решеткой, за которой помещалась лавочка, где знаменитый Иосиф торговал красками, холстами и всякими другими художественными припасами. И я, как все, остановился тут же, около этой решетки, и стал рассматривать народ — самую пеструю толпу, какую только мне когда-нибудь случалось видеть. Тут рядом с молодыми и не слишком молодыми людьми самого обыкновенного вида были молодые и пожилые люди совсем не обыкновенной, а густо артистической наружности. Были явно пребывающие в нищете неопределенного возраста люди в засаленных и затрепанных пиджаках. Были нарядные дамы и девушки по всем признакам, что называется, из «хороших домов». Были субъекты как-то по-необычному одетые, похожие на туристов или альпинистов. Я заметил даже в толпе усатого и бородатого офицера в золотых очках с капитанскими или штабс-капитанскими пого-

нами, что мне показалось уж совсем неподходящим по данному месту. Прежде всего мне бросалось в глаза, что все в этой толпе были старше меня. Я, чуть не самый старший в реальном училище во всем своем выпуске, оказался здесь самым молодым. И еще: казалось, что почти все знакомы друг с другом! Пока я искал объяснения этому поразившему меня факту, я заметил еще, что так же фамильярны, как друг с другом, они были и со сторожами классов, которые, впрочем, в своих холщовых чистых блузах держались с большим достоинством, чуть ли не по-профессорски, во всяком случае так, как люди, от которых многое и многое зависит, которые хранят какие-то тайны, могущие облегчить экзаменующимся вступление в святилище. Когда я прислушался к разговорам вокруг, то узнал нечто, что повергло меня в тот именно священный трепет, которого я напрасно ожидал, подымаясь по лестнице. Оказалось, что большинство, особенно тех, что имели вид артистов и туристов, побывало в Мюнхене и в Париже, толкалось там не один год по мастерским, училось рисунку у Кормона и так далее. Обнаружилось и еще одно уже совсем тревожное для меня обстоятельство: почти все держали в училище, непременно проваливаясь на экзамене, по нескольку раз. И не один-два раза, а раз по шесть—восемь! И все принимали это не как какую-то несчастную случайность, а как явление вполне нормальное: так и считалось, что в училище никак нельзя поступить с одного разу.

А я-то думал, что достаточно хорошо подготовился, рисуя головы Юпитера и Геры у Цыганка да нарисовав, по настоянию уже Ивана Ивановича, несколько живых голов с ребятишек нашей кухарки! Как же я был, оказывается, легкомыслен, по-провинциальному наивен! Вдруг храм искусств, такой когда-то недосягаемо прекрасный в моем воображении, возродился теперь передо мной в этой скромной, так обманувшей меня оболочке, во всем своем внутреннем величии. Я ощутил и уважение, и трепет, и настоящий страх. Полная уверенность, что я провалюсь, заползла мне в душу.

Весь экзамен прошел в каком-то лихорадочном тумане. Туман этот не сразу рассеялся даже тогда, когда поздно вечером в день последнего экзамена я узнал, что принят на первый курс архитектурного отделения (по настоянию отца, который и слышать не хотел о живописи, я держал на отделение архитектуры).

Мое поступление мы с отцом отпраздновали в Большом московском ресторане ужином, который стоил столько, сколько мама тратила на все завтраки, обеды и ужины на нашу семью в течение целой недели.

И вот я остался в Москве один.

В училище я не встретил никого из тех, кого заприметил в толпе экзаменующихся. Все сколько-нибудь колоритные артистические фигуры провалились, видно, и на этот раз. Я заметил в коридорах только толстого офицера в золотых очках. Когда через полгода, после бурной переписки с отцом, презрев увещания инспектора училища Гиацинтова, я перешел на живописное отделение, то оказался с этим бывшим офицером в одном классе. К этому времени он снял уже свою форму. Я с ним познакомился. Это был Масютин, уже довольно известный художник, выставлявшийся на выставках Союза.

В училище мне показалось как-то скучнее, чем я ожидал. И хоть я старательно писал по утрам и рисовал по вечерам, но делал это без ожидаемого воодушевления.

Гораздо больше меня занимала Москва, которая мне представилась теперь другою, совсем не тем патриархальным городом моего детства, о котором сохранились воспоминания. На Кузнецком, в магазинах, театрах, концертах, на выставках я видел совсем других людей, чем те

тихие старички и та степенная, несколько старомодная молодежь, которые окружали мое детство. Мне представилось, что Москва сильно европеизировалась. Даже больше: через Европу сказалось американское воздействие, отзвуки даже негритянского фольклора. Сказалось это в кек-уоках и танго, в американской обуви диковинных фасонов с пузыристыми носами, которые не мог повторить ни один европейский сапожник, так что даже великосветские и просто богатые франты, никогда не носившие готовой обуви, принуждены были покупать эти изделия американской индустрии. Не только фасоны обуви и котелков, менявшиеся каждый сезон, но и все, принесенное ветром моды, было в высшей степени эксцентрично, как никогда, может быть, раньше и никогда потом. И за все москвичи хватались с преувеличенным азартом провинциалов.

Кое-что, впрочем, оказалось настолько смело, что удержалось недолго. Такой непрочной модой были дамские платья со случайными «декольте» — маленькими треугольными или ромбическими окошечками где-нибудь на боку или на бедре, в которые сквозило голое тело, ибо под такие платья белья не полагалось. Иногда под этими ромбиками или треугольничками кожа красилась в черный цвет. Не продолжалась долго и другая мода — красить (вернее, пудрить) волосы в розовый, зеленый, голубой и прочие, совершенно несвойственные волосам цвета. Я очень пожалел о недолговечности этой моды: было забавно смотреть откуда-нибудь с верхнего яруса на партер в театре, где шевелится целый цветник дамских голов самых неожиданных колеров.

Всей этой эксцентричностью каким-то образом утверждался модный урбанизм и в жизни и в искусстве. Недаром футуристы раскрашивали свои лица, ничего не изобретая нового после фиолетовых волос, а только делая шаг дальше, но в ту же сторону. Недаром как-то Бурлюк на диспуте футуристов вынул из-под стола американский лакированный башмак с замшевым верхом и, подняв его выше головы, назвал произведением искусства превыше всяких Венер Милосских.

В сущности, искусство, как всегда, шло рядом с жизнью. Но если в жизни всякие эксцентричности, экстравагантности мод серьезными людьми или не замечались, или прощались, так как казались в конечном счете пустяками, то в искусстве, которое в общем мнении было всегда делом серьезным, всякая подобная новизна озадачивала, эпатировала и уж во всяком случае казалась намеренным вывертом. На самом же деле экстравагантность, внесенная в жизнь модами и негритянскими танцами, была отголоском того, что в искусстве было делом серьезным, глубоким и что только по первоначалу и беглому или предубежденному взгляду казалось кривляньем.

И опять-таки прежде всех именно москвичи ухватились за «новую моду» в искусстве. Картины Сезанна, Ван-Гога и Пикассо перекочевали к московским собирателям, которые сами еще вовсе не предугадывали, что из этого нового искусства выйдет, а собирали эту уродливую живопись больше потому, что это последний крик моды. Сергей Иванович Щукин так и признавался, что, приобретая «Даму с веером» и «Скрипку» Пикассо, он не чувствовал к ним ничего, кроме болезненного отвращения, и потом долго приучал себя к ним, «привыкал», как он говорил. Для этого он вешал их на некоторое время у себя в спальне так, чтобы первый взгляд утром и последний вечером падал на эти «жуткие» картины, чтобы можно было полежать, посмотреть, подумать. И вот полежал, подумал — и «привык»!

Привыкли, привязались к этой живописи и мы, молодежь, еще только тянувшаяся к искусству, по крайней мере наиболее прогрессивные и культурные из нас — те, кто поглубже стремился проникнуть в самую «суть» искусства, что-то в нем постигнуть, найти какой-то путь, по-

которому можно было бы идти вперед,— а мы хотели идти вперед, и только вперед.

Через знакомых чьих-нибудь знакомых можно было проникнуть и к Щукину и к Морозову. В таких случаях составлялись группы молодых художников и их друзей, которые в назначенное утро собирались в передней щукинского или морозовского особняков, где их встречали сами хозяева и сами водили по своей галерее, охотно рассказывая, откуда и как попали в нее те или другие полотна.

Я был несколько подготовлен к тому, что увижу в этих собраниях, и репродукциями «Золотого руна», и несколькими картинами новых французов, которые висели в Третьяковской галерее, в зале 19-бис. Тем не менее впечатление оказалось сильным и неожиданным. Меньше всего тогда (да и после) меня увлек Гоген. Он как-то очень скоро для меня исчерпался, и я отвернулся от него, по-видимому, навсегда. Когда в Третьяковке я увидел одну его вещь, она мне показалась внешне красивой, и только. У Щукина же перед огромным количеством картин Гогена, висевших рама к раме на темном дубе столовой, у меня по первому впечатлению буквально захватило дух, я был ошеломлен великолепием красок и пышной декоративностью этих полотен. Но сейчас же предпочел им Сезанна и Ван-Гога. Позднее декоративность, например, Матисса показалась мне куда тоньше, разнообразнее. Да и не исчерпывался он одной декоративностью, как Гоген.

В основе гогеновской живописи лежит раскрашивание — вот рядом с этим тоном положу этот. Узор резко ограниченных пятен. Может быть, и так можно. Немало больших художников работало по этому рецепту: Шаванн, Морис Дени, наконец Петров-Водкин, который в большой мере тоже раскрашиватель. Их приятной и даже значительной живописи я все-таки всегда предпочту ту, которая основана на совсем ином принципе: художник стремится не только цветом, но и массой краски, самым способом ее наложения на холст создать изображаемую вещь, сделать ею, этой краской, форму. Такова живопись Сезанна, Вламинка, Дюфи, если говорить о наших современниках, и Веласкеса, Рембрандта и многих голландских пейзажистов вроде ван Гойена, если вспомнить стариков. Меня в живописи влечет и влекло всегда именно это ее качество. Так же, как реализм, под которым я разумею не столько обязательную для него по общему мнению объективность, как прежде всего постоянную верность своему мировоззрению, искренность,— пишу, как вижу и чувствую. Даже очень субъективный живописец останется реалистом, если всегда будет верен своему мироощущению, если не увлечется отвлеченными измышлениями или не станет на путь подделок. К слову, некоторые наши ленинградские и московские современники, за которыми утвердилось звание реалистов, в сущности, именно такие пустые подделыватели, ибо пишут то, чего не видят, не знают, а иногда и не чувствуют.

Именно поиски реализма потянули меня тогда к мудрому Сезанну, к Ван-Гогу, великая искренность которого меня потрясла; наконец к Марке, которого никто из моих товарищей как-то не оценил тогда вполне.

Совсем иначе заинтересовал тогда меня Пикассо. Точная сделанность, рукодельность его натюрмортов и других вещей футуристического периода показалась мне настоящей «мануфактурой», вполне отвечающей современному урбанизму, нашему преклонению перед машиной, перед индустрией, продукция которой по совершенству невероятной, недостижимой никогда раньше точной работы является высоким искусством, подлинным «перлом творения» современности.

Эта высокая техничность, которая была сегодняшним днем искусства, привлекала меня и в жизни, в предметах современного обихода.

Прежде всего в костюме. Я стал носить только американскую обувь, стремясь, чтобы башмак и на моей ноге сохранял машинную точность формы; полюбил твердые шляпы, которые не деформируются на голове, четкость прически волосок к волоску, пока эти волоски еще держались на моей голове. И скоро если не прослыл среди товарищей франтом — так как я соблюдал в своей внешности не столько франтоватость, сколько комильфотность,— то заслужил презрение многих из них, тех прежде всего, которые отпускали пышные гривы волос и носили пышные галстуки,— словом, имели подлинно художественную внешность.

Скоро я заметил, что такая внешность вовсе не была результатом небрежности натуры художника, которому за высокими мыслями некогда подумать о своей наружности. Наоборот, их высокие мысли были заняты именно этими делами, так как эти пышные шевелюры требовали постоянного внимания. Их владельцы носили в кармане гребенки и причесывались перед зеркалом всякий раз, как снимали шляпу, да и потом от времени до времени проводили гребешком по волосам. Я же, причесавшись утром, уже не вспоминал потом о своих волосах и не заглядывал в зеркало до следующего дня.

Потом мне не раз приходилось говорить об аккуратности с людьми, которые ее считают признаком холода души, отсутствия темперамента. Я говорил в таких случаях, что то, что называется аккуратностью, для меня просто система отношения к вещам, благодаря которой я не позволяю им владеть мной. Я ими распоряжаюсь, а не они мной.

Как-то я присутствовал при утреннем туалете одного моего друга-писателя, с которым мы работали над детской книжкой и условились в это утро сойтись для работы пораньше (это «пораньше» было, конечно, после десяти часов утра). Он брился. Делалось это как-то урывками, среди серьезного разговора. И разговор потому не клеился, и бритье досадно прерывалось исчезновением то кисточки с мылом, то полотенца, то самой бритвы, которую хозяин в увлечении разговором выпускал из рук и уже потом не находил. А что началось, когда мой друг стал завязывать галстук и надевать башмаки! Он не мог найти сразу ни одну вещь! Он метался по всей комнате и всерьез злился, а все эти башмаки, галстуки и жилеты буквально издевались над ним, прячась в самые неподходящие, неожиданные места. Бедняк оказался целиком во власти вещей, которые делали с ним, что хотели.

Нет, куда удобнее устроиться так, чтобы вещи сами шли в руки, чтобы внимание и ум были свободны, чтобы механизировалось все общение с материальным миром и необходимые житейские процедуры происходили незаметно для сознания.

В своем искусстве, в школьных этюдах и рисунках, я стремился к такой же власти над формой, над материалом. Мои рисунки тогда были точны, конечно, только в меру моего тогдашнего представления о форме, недостаточно еще глубокого. Но мое понимание формы в них излагалось без всякой неопределенности, с предельной четкостью, не допускающей никаких, так сказать, «разночтений». Такова же была и моя живопись, не слишком сухая только потому, что была достаточно обобщенной.

«Вы как Гольбейн: как прорисовали, так и не сдвигаете уже в живописи ни одной черты»,— сказал мне как-то С. В. Малютин, бывший нашим профессором в мастерских. Действительно, я сначала долго рисовал на холсте, как это делал Серов в своих портретах, к которым я присматривался тогда сочувственным глазом, и брался за живопись, когда рисунок меня уже удовлетворял или, чаще, когда оставалось уже очень мало времени до конца постановки.

В словах Малютина я чувствовал небольшой укор, которого, к несчастью, я тогда не понял. Напрасно он не объяснился со мной точнее.

Только много времени спустя, давно работая самостоятельно, я пришел к твердому убеждению, что в процессе работы нельзя переключаться с одного материала на другой. Нельзя, например, начав рисунок карандашом, продолжать и заканчивать его пером. Мой прием тогда был порочен не потому, что я долго рисовал в погоне за точностью формы и уже не сдвигал этого рисунка, а потому, что делал это не в том материале, в котором предполагал сделать этюд. Выяснять и уточнять форму следовало бы в живописи же, цветом, а не углем и не карандашом. Потому что трактовка формы определяется не только миропониманием художника, но в достаточной мере и материалом. Художник с карандашом в руке мыслит иначе, чем тот же художник, взявший в руки кисть.

Когда я в качестве профессора руководил рисунком в Академии художеств, меня всегда сердили студенты, которые, наметив проволочным контуром фигуры натурщика, спрашивали меня, можно ли уже «начинать тушевать». Я старался внушить им, что начатый линией рисунок таким и должен остаться, а если есть намерение сделать его объемным при помощи тона, то так и надо делать его тоном с первого движения руки по бумаге. То и другое — разные взгляды на вещь, и никак нельзя без болезненного шока перейти от одного представления о предмете к другому.

Училище живописи

То, что делалось в Московском училище в те годы, меньше всего можно было назвать преподаванием живописи. В классы широко хлынуло новое искусство (больше французское). Профессора как-то растерялись, спасовали перед этим явлением. Они понимали, что помешать этому невозможно. А некоторые из них считали это не только невозможным, но и ненужным, сами захваченные (больше теоретически) этой свежей волной.

Высоко держал голову только один К. Коровин. Он появлялся в мастерской не слишком часто и всегда в разное время. Стремительно войдя в класс, он сразу же начинал говорить — по поводу натуры («...Жар-птица! Ее тело горит красками! Где там та серая муть, которую я вижу на ваших этюдах?..») или по поводу чьей-нибудь работы, попавшейся ему на глаза, а чаще без всякого повода. Мы обступали его тесной толпой, подходила и натурщица, накинув на плечи платок. И слушали всегда с напряженным вниманием эту приподнятую, даже взволнованную, всегда неожиданную речь.

Особенно приподнятой эта речь бывала тогда, когда мэтр появлялся в мастерской в девять часов утра. Это значило, что он попал к нам не из дому, что ему случилось провести ночь где-нибудь, где пели цыгане и лилось вино рекой, и уже под утро, после традиционного чая в «Золотом якоре», он вспомнил вдруг о своей мастерской и мчался прямо оттуда к нам. Об этом свидетельствовал, кроме раннего появления в классе, и несколько взлохмаченный вид профессора, всегда очень аккуратно, даже щегольски одетого. В такие дни дядька Никифор, нежно любивший Константина Алексеевича, провожая глазами его, уходившего стремительными шагами по длинному коридору и натыкавшегося в полумраке на табуретки, качал головой и говорил: «А наш-то!.. Э-хе-хе!»

Из слов Коровина не оставалось в памяти ни одного, но ясно становилось, что творчество — радость, искусство — сама полнокровная жизнь, и на самом деле начинали казаться мутно-серыми наши этюды. Уже невозможно было работать в этот день. И пойдешь куда-нибудь бродить по Москве, чтобы в долгом скитании по ее бесконечным бульварам и путаным переулкам переварить как-нибудь все взбудораженные речами Коровина мысли.

Иногда я и мой друг — тот, другой ученик моего Ивана Ивановича, которого я поминал уже,— оказывались где-нибудь в кафе и там, перед остывшим кофе и нетронутыми пирожками, пытались разрешить наши тяжелые сомнения. Но они не разрешались, а росли все больше и больше. Эх, если бы мы догадались тогда, что эти сомнения если и могут быть разрешены, то только на холсте!

Из других наших профессоров настоящим педагогом был только передвижник Касаткин, преподававший в фигурном классе. Он в самом деле способен был помочь тем, кто его слушал, укрепить свои первые шаги в искусстве. Остальные же, среди которых были и такие почтенные художники, как Малютин и Архипов, были смущены или сбиты с толку тем, что творилось в школе, и как-то даже робели перед учениками. И это не так уж удивительно, если вспомнить, что среди учащихся были уже совсем сложившиеся и яркие фигуры — Крымов, Ларионов, Гончарова, Масютин, Барт, Бурлюк. А многие другие, кто, как я, по молодости совсем еще никак не определился, заняты были самыми «глубокими» изысканиями в духе того самого искусства, которое еще не стало общепризнанным и для многих было жупелом. Эта молодежь не склонна была идти за советами к профессорам училища — она имела своего вождя. Это был не Ларионов, не Гончарова и даже не Бурлюк. Этим вождем был тот «другой» ученик моего Ивана Ивановича, о котором я только что поминал. Все годы его пребывания в училище вся школа была под обаянием его искусства. Его подражателей было много, и даже сторожа, размещая работы по мольбертам перед экзаменом, опознавали сделанные «под него».

Я не намерен здесь рассказывать, почему так случилось, что он, дав нам всем так много, ничего не оставил себе.

Какое место я сам занимал среди пестрой толпы, наполнявшей мастерские школы живописи,— не знаю. Бурлюк как-то сказал мне: «Кто вы? Вы декадент, и ваш отец и дед были декадентами». Это слово — «декадент» — тогда еще произносилось всерьез и означало больше «новатор», чем «выродженец». Я заметил Бурлюку, что рисую точно и сухо, а пишу только черным и коричневым.

«Что ж из этого,— сказал он,— и Пикассо пишет коричневым».

Старая Москва. Богатые родственники

Нашлась и старая Москва!

Я поселился на Плющихе. Черт его знает, как это вышло: бродил я по Москве в поисках комнаты, вспомнил, что кое-какие мои родственники живут в переулках Арбата и Пречистенки, прошел, ничего не найдя подходящего, и по этим улицам и оказался на Плющихе. Опомнился я только, когда, устав бродить и искать, снял комнатушку на верху довольно мрачного дома в Ростовском переулке. Тут только я сообразил, в какую даль от училища я забрался, и пришел в ужас.

Но, видно, сама судьба вела меня за шиворот: в этой самой квартире, в соседней комнате, поселились потом две слушательницы курсов Герье, одна из которых через несколько лет стала моей женой.

Сберегая пятаки, я изредка ходил с Плющихи в училище и обратно пешком, а под конец месяца совершал такие прогулки ежедневно, так как этих пятаков уже не бывало в кармане.

Кремль теперь закрыт для прохода. И очень жаль — без Кремля Москва не Москва.

Тогда мне доставляло огромное удовольствие пройти вечером, после семи часов, из Никольских ворот в Троицкие по пустынным уже пло-

щадям Кремля мимо Чудова монастыря, мимо рядов наполеоновских пушек, под звонкие и четкие крики галок, которые тучами носились по темнеющему небу над башнями Кремля и Иверских ворот, устраиваясь на ночлег на деревьях Александровского сада.

Китай-город, который я пересекал по Никольской, вечером тоже бывал пустынен. Когда же мне приходилось проходить по той же Никольской днем, меня оглушала деловая суетня торговой Москвы, которая кипела в улицах и по переулкам за рядами. Тут из всех углов, как и в Кремле, на меня смотрела старая Москва, только не мертвая, как там, а шумная и деятельная, хоть и такая же старозаветная. Здесь все было по-старому: те же бесконечные тюки и ящики товаров (мне всегда хотелось знать в детстве: что там понапихано в таком количестве?), те же перепачканные ломовые, жующие на ходу ситный, ослепительно белый в их черных руках, та же теснота, грязь и как будто беспорядок — и то же везде безграничное обилие!

Все эти Щукины, Журавлевы, Поповы и Морозовы, европейцы у себя дома, в концертах и на выставках, здесь, за рядами, были такими же азиатами, как встарь их деды и прадеды.

Здесь я нашел Москву своего детства! А когда наконец побывал, вспомнив родительский наказ, у своей богатой купеческой родни, которой в Москве было немало, то вполне убедился, что Москва стоит на тех же китах.

Что же тогда означал интерес этих же Щукиных и Морозовых к западному, самому новому искусству, собирательство Матиссов и Пикассо, таких «страшных», что к ним надо привыкать по неделям и месяцам?

Мне представилось тогда, что это что-то вроде тихого кутежа без битья посуды, без полицейского протокола, но, несомненно, с некоторыми признаками самодурства и тихого скандала.

Так-то это так... Но, кроме самодурства, кроме желания удивить, поразить, нет ли здесь и некоторого удовлетворения некоторым запросам души?

Если искусство до сих пор — искусство, скажем, передвижников — отвечало настроениям интеллигенции, которая с самой середины XIX века истекала слезой по поводу неустройства своего меньшого брата, и потому искусство это стало народническим и тенденциозным, насквозь проникнутым высокими идеями, то каким же должно быть искусство на вкус нового деятеля, недавно вышедшего на арену русской культурной жизни, на «скус» нового купца?

Купцу, хотя бы и новому, плевать на меньшого брата — он сам из того же теста и потому не склонен возносить его на пьедестал. Потому ему нет никакого дела до всяких идей интеллигентского измышления. Следовательно, никакой слезы, никакого направленства и литературы от искусства не требуется. Искусство, вроде как цыганский хор, должно развлекать, радовать, должно быть украшением жизни, и только (не того ли ждали от искусства меценаты всех времен вплоть до итальянских герцогов эпохи Возрождения?). Значит, по типу искусство должно быть декоративным прежде всего. А раз так, то и Матисс может прийтись по мерке. Интеллигентская слеза была чем-то чисто русским, а декоративность — интернациональна. Рядом с Матиссом, в поисках за декоративным искусством, появился интерес и к русской старине. Рябушинский, Остроухов, один из Щукиных и многие другие стали собирать эту старину, и прежде всего и больше всего — русскую икону. Русская живопись, помимо своего религиозного содержания, уже обветшавшего, казалась вечной и современной именно своей декоративностью.

Я не писал, не решался писать о современности. Мне говорили: вместо того, чтобы вспоминать старину, вы писали бы лучше о том, что переживаете сейчас. Та старая эпоха известна, о ней много сказано, а современность уйдет, забудется; утратятся все черты ее и некому будет их удержать, закрепить. Я чувствовал, что это как-то не так, не вполне верно. И был прав. О сегодняшнем нельзя рассказать сейчас же по свежему впечатлению. Прежде всего — нет этого впечатления!

У нас в квартире той страшной зимой умирала старуха. Через два дня после ее смерти за ней прибыл кто-то на самолете, чтобы вывезти ее из Ленинграда к дочери, а за несколько дней до смерти она сидела на пороге своей открытой двери почему-то верхом на стуле, худая, черная, вытянув руку, и все время хрипло стонала: «Хлеба, хлеба!»

Сейчас мне страшнее вспоминать этот черный скелет полумертвой старухи, чем тогда проходить по коридору мимо. Потому что сам я тогда был другой — все те ужасы проходили мимо меня, как за туманной завесой. Свой ужас внутри был ужаснее. Только сейчас я могу на все прожитое посмотреть обыкновенными человеческими глазами — значит, с человеческой точки зрения, верно; а рассказать так, чтобы другой почувствовал то, что я пережил, смогу еще много спустя, если только смогу.

Во мне и сейчас уже много перемен. Мне начинает казаться, что я почти вернулся к прежнему состоянию духа. Почти! Но далеко не совсем. Зимой 41—42 года я не терпел, не мог переносить музыки, особенно вокальной. И не только потому, что казалось чудовищным — по улицам едва плетутся голодные люди, а громкоговорители поют песни. Теперь, в декабре 1943 года, когда я сыт, я опять с удовольствием слушаю музыку, и мне уже не понятно, как это так совсем недавно она меня только раздражала.

Я вспоминаю старую Москву, всем духом которой на меня пахнуло, как только я переступил порог дома своей прабабушки. Я называл ее бабушкой, а еще чаще просто по имени. Уж очень дальнее у нас с ней было родство — сестра ее покойного мужа была замужем за моим прадедом, Стефаном Конашевичем-Сагайдачным (тогда еще эта половина нашего имени не была откинута по повелению царя, лишившего этим всех Конашевичей навсегда дворянства за революционную деятельность одного из них, сошедшего с ума и умершего в Шлиссельбургской крепости).

Прабабушка жила на Остоженке, в Савеловском переулке, в особняке — большом одноэтажном доме, стоявшем торцом в переулок и далеко тянувшемся вглубь, вдоль огромного сада, спускавшегося к Москве-реке. Дом высоко был поднят на подвальном этаже, где помещались кухня и людские, и потому из нижней прихожей подымалась вверх лестница красного дерева, а там открывалась длиннейшая анфилада покоев — сначала огромный зал с одиноким длинным роялем в чехле и с двумя хрустальными люстрами; к нему с одной стороны примыкал зимний сад, а с другой за аркой — гостиная, за которой была столовая, потом чайная комната в русском стиле, потом еще гостиная, потом кабинет, потом еще кабинет, потом диванная и т. д. и т. д. Все двери были открыты одна за другой, и комнатам, казалось, не было конца.

Я, впрочем, не бывал никогда дальше столовой, где около окна, подоконник которого зимой был выложен мехом, спускавшимся до самого пола, в глубоком кресле с книгой или газетой (но никогда с каким-нибудь обычным старушечьим рукоделием) в руках сидела прабабка — сухощавая, прямая, строгая старуха, черствая, как самый древний сухарь. На ее тонких сухих губах я никогда не видел и тени улыбки,

в ее словах не сквозило никогда никакого чувства. Ох, какой жуткой показалась она мне с первого же раза, когда я подошел к ее креслу — так и веяло от нее холодом, и все, все, казалось, замерзало вокруг нее. В доме было пустынно, царила мертвая тишина. Я знал, что где-то в своих отдельных пяти комнатах живет с двумя взрослыми дочерьми старушка компаньонка прабабушки, но я никогда ее не видел. Побывав в этом доме раз, я уже не решился заглянуть в него больше.

Но, приехав на другой год, я все-таки, исполняя строгий наказ отца, пошел к старухе. Она встретила меня, насколько это было для нее возможно, приветливо, попеняла мне за то, что я так надолго скрылся, и взяла слово, что в ближайшее же воскресенье я приду к обеду. И я пришел и потом уже не пропускал ни одного воскресенья.

После недели обедов по столовым среди серой людской толпы, за шатким столиком, на несвежей скатерти, мне приятно было сесть за большой, прекрасно сервированный стол.

Обедали мы всегда только вдвоем. К моему удивлению, я заметил, что никто больше не удостаивался этой чести. Впрочем, не только меня это удивляло: несколько озадачены были таким расположением ко мне бабушки и ее дочери, и внуки. А если бы им стало известно, что бабушка простерла свое благоволение ко мне вплоть до удовлетворения некоторых моих вкусов (так, у моего прибора всегда стояла бутылка «шабли» или мозельвейна, так как стало известно, что я люблю белое вино), то они и вовсе встревожились бы, предположив с моей стороны намерение пролезть в бабушкино завещание. В этом они все были настороженны и зорко смотрели друг за другом, чтобы кто-нибудь перед бабушкой не забежал вперед.

Обед, который всегда точно начинался в час дня, проходил обычно в полном молчании. Старуха не была разговорчива, а я, как ни тужился из учтивости придумать тему для разговора, не находил ее и скоро умолкал вовсе. После обеда бабушка имела обыкновение отдохнуть и всякий раз неизменно говорила мне: «Ну, ты меня извини, я пойду прилягу, а ты, если тебе скучно оставаться одному с попугаем, можешь пройти к Маше. Ты знаешь, она всегда тебе рада».

Маша была ее младшая дочь, та самая Марья Васильевна, Сонина крестная, которая привезла когда-то нам на дачу знаменитую небьющуюся куклу, погребенную нами в куче песка.

Марья Васильевна уже давно похоронила своего мужа, казачьего полковника, только что продала свое огромное имение в области Войска Донского и устраивалась теперь на новой квартире, которую наново отделала и обставляла. Я помогал ей подбирать драпировки к обоям, ткани для обивки мебели и сдружился с ней за это время. Во всяком случае я привык к ней и чувствовал себя уютно в ее доме, около этой грубоватой, своевольной, но, в сущности, доброй и прямой женщины. Мой успех в ее доме начался с того момента, когда ее китайская собачонка — злющее создание, не терпевшее никого, кроме хозяйки, да и на ту частенько ворчавшее,— вдруг почувствовала ко мне расположение, встречала меня радостно и не отходила от меня весь вечер. Хозяйка посчитала это добрым знаком.

Выйдя от бабушки, я обычно делал крюк, чтобы не сразу попасть к тетке, как я называл Марью Васильевну, хоть она и доводилась мне бабушкой, правда троюродной. Она немножко молодилась, и титул бабушки ее бы обидел. Мне нужно было, чтобы впечатление от бабушкиного обеда поулеглось, так как Марья Васильевна всегда встречала меня одним и тем же вопросом: хороший ли у меня аппетит? Она и сама умела хорошо покушать, и любила, чтобы другие у нее ели с удовольствием. Если у сдержанной во всем бабушки обеды, всегда мастерски приготов-

ленные, блистали больше изысканностью блюд, чем количеством, то у ее дочери все было не только вкусно, но и обильно, чисто по-купечески: если пироги — то гигантские и трех-четырех сортов; если рыба — то стерлядь на весь стол; если кто захочет кусочек ветчины — то несут целый окорок.

К обеду обычно прибывал сынок Марьи Васильевны, тот самый, которого раньше я вспоминал рыхлым, бледным гимназистом. Он и сейчас был таким же, только еще более вялым, молчаливым, безучастным, как будто весь мир от него заслонен каким-то туманом. В университете он не закончил курса на медицинском факультете, вдруг почувствовав отвращение к медицине, разочаровавшись в естественных науках. На него нашла полоса каких-то сомнений, тяжелых размышлений, кончившихся нервным расстройством. Он углубился в философию, в теологию, был хоть и не в меру серьезен, однако не глубок и не усидчив, и философию скоро забросил. Но что-то все-таки еще бродило в нем даже тогда, когда я его вновь увидел, уже застывшего в каком-то тупом оцепенении. Изредка его что-нибудь задевало, и он, по-старому, не умея ни на что взглянуть просто, задавался целью изучить вопрос со всех сторон, для чего накупал кипу книг, но никогда не прочитывал и первой из них. Словом, это была русская натура в полной мере и в том ее состоянии, в которое она приходит, когда обстоятельства не заставляют ее работать.

Своей жизнью он совсем не владел, ни в какой мере, а шел туда, куда его поведет случай.

Так он получил и подругу жизни. Случилось ему как-то заболеть. К нему приставили сиделку, немолодую женщину. Она и стала спутницей его жизни. И я уверен, что это не стоило ей большого труда. Жениться на этой женщине из боязни мамаши он не решался, да и она была настолько сообразительная, чтобы понять, что попытка узаконить свое положение может окончиться для нее отставкой. Однако у мамаши к обеду по воскресеньям она появлялась всегда с ним, хоть Марья Васильевна едва ее терпела, считая только необходимым лекарством своему не совсем здоровому сыну.

Жили они отдельно, сын был отделен от мамаши во всем. Марья Васильевна только что продала свое имение за миллион восемьсот тысяч, миллион оставила себе, а остальное поделила пополам между сыном и дочерью, которая жила где-то в провинции замужем. Эти цифры казались мне ни с чем несравнимо гигантскими. Такое богатство я не мог представить себе реально и, если бы вдруг оказался обладателем десятой, даже сотой части этих капиталов, посчитал бы себя богачом, который может не задумываясь, неограниченно и свободно сеять деньги направо и налево.

Однако в среде Марьи Васильевны на капиталы и возможность трат смотрели иначе. Здесь, в недрах старой купеческой Москвы, передо мной представала скупость во всех своих постепенностях: от расчетливости и до самой гнусной скаредности. Довольно-таки противные формы приобретает скупость, когда отпадает ее цель — нажива, накопление ценностей.

Прабабушка сидела на своих миллионах, истинной цифры которых никто не знал и от которых никому не было ни тепло, ни холодно, даже ей самой; ее очень ограниченные старушечьи потребности и привычка жить строгой жизнью многого не требовали.

Марья Васильевна имела запросы пошире и не отказывала себе в их удовлетворении, но все же жила с оглядкой, с расчетом. И если не очень скупа была для себя, то в других это качество считала добродетелью, особенно если эти другие были небогаты. Она долго вспоминала мне с укором мою расточительность: я подкатил как-то к ее подъезду на извозчике, когда сама она подходила к дому пешком, возвращаясь из

церкви. Был первый зимний день, все стало бело, так чудесно пахло свежим снегом, извозчики сменили колеса на санки — и я не утерпел: так захотелось прокатиться на санях по новому снегу. Она строго отчитала меня за такое чисто дворянское легкомыслие.

Сын ее уж совсем жадно дрожал перед каждой тратой и очень боялся материнской расточительности — как бы мамаша не прожила свой капитал при жизни. И всякий раз, бывая у нее по воскресеньям, что-нибудь выпрашивал для своего хозяйства: «У вас, мамаша, грибочки очень удались. Не прислали бы вы нам баночку?»

Как-то он задумал шить себе костюм и все прицеливался, колебался, мучался, прежде чем решиться на такую капитальную трату. «Вот скажите, сколько вам обошелся костюм, что сейчас на вас?» — спросил он меня как-то. «Ну,— я говорю,— шил я его у себя в провинции и не так, как это делается в столице: отдельно покупал материю, отдельно платил за работу портному».— «А что ж, пожалуй, так и экономичнее. А сколько платили за сукно?» — «Двенадцать рублей».— «О, для меня это очень дорого!»

Я вышел из среды, где если не все жили выше средств, то уж во всяком случае никто не жил ниже своих возможностей,— потому скупость богачей казалась мне чем-то противоестественным и в высшей степени мерзким.

Именины прабабушки. Вместо обеда в этот же час — традиционный пирог. В столовой пышно накрыт огромный стол. Много гостей. Я вошел и сказал себе: вот куда Москва вытряхнула свое старое чрево! Мужчин мало: несколько только вытертых, съеденных молью старичков. Все больше женщины. Все они в каких-то не то что старомодных, а каких-то не совсем европейского покроя платьях, чаще черных, в которых и молодые кажутся старухами. Среди всех этих черных платьев мало заметны несколько почтенных монахинь. С большинством нововходящих не знакомят — недостойны. Очевидно, это или бедная родня, или семьи старых служащих по амбарам и складам дедушки. Сын Марьи Васильевны ловит меня под руку и увлекает к верхнему концу стола, поближе к бабушке. «Здесь,— говорит он, оживляясь (он всегда оживлялся около еды),— все получше: пирог с осетриной, вино французское, а вон под стеклянным колпаком — омар; а на другом конце — вино удельное и заливной судак». Только мы с ним подсели к омару — за столом движение, все встают; повернулся и я в ту сторону, куда все, и вижу: из внутренних покоев, окруженная целой толпой, как мне показалось, приживалок, выступает высокая, очень древняя по всем признакам, но очень еще бодрая старуха, сразу меня поразившая своим строгим видом и вместе с тем каким-то беспокойством во взгляде и неровной, деревянной поступью. На ней старомодное платье, очень широкое, как носили в шестидесятые годы, сшитое из коричневого, затканного мелкими букетиками цветов шелка такой плотности, что казалось, выйди она из него, оно так и останется стоять посреди комнаты. Под руки старуху вели две женщины, еще две несли ее мешок и костыль; остальные замыкали шествие. Старуха, блеснув глазами и сдвинув брови, обвела всех взглядом и остановила его на мне. Глаза ее вдруг стали расширяться, на лице выразилось удивление, и она, отпихиваясь руками от своей свиты, к моему удивлению и даже ужасу, направилась прямо ко мне. «Дометий, ты! Какими судьбами?!» Тут между нами выросла бабушка, старуху окружили, подхватили опять под руки и повлекли к другому концу стола. Она сразу успокоилась, я заметил только, что ее старательно заслоняют от меня. «Моя тетушка, последняя в роде замоскворецких купцов Сырейщиковых, давно выжила из ума,— сказала бабушка,— помнит только отдаленное про-

шлое и живет в нем, не замечая, что все кругом давно изменилось».— «Значит, я похож на своего деда, если она во мне его признала?» — спросил я. «О, очень, очень! Ты вылитый дед — такой, каким он жил у нас в этом самом доме, когда был студентом».

Так вот оно что! Вот откуда «шабли» и мозельвейн! Теперь мне понятно расположение ко мне прабабушкиного черствого сердца: по слухам, она сильно была неравнодушна когда-то к своему племяннику, моему деду.

Маруся Дроботова

Сколько в Москве прелестных женщин, я их вижу всюду — на улицах, в концертах, в театрах. И ни одна, ни одна из них не любит меня! Вот эта, что стоит у освещенной витрины магазина и вместе со мной разглядывает чулки и нарядное, кружевное белье, которое мы могли бы с ней вместе видеть не тут, а где-нибудь в уютной спальне. Если бы она знала, каким пылким и нежным любовником я мог бы быть, отвернулась ли она так от окна и пошла бы так спокойно, не взглянув даже на меня?

Я влюблялся в первую миловидную молодую женщину, которую встречал на улице. Я целый день вспоминал о ней, стараясь подольше удержать в памяти ее образ, и оставался ей верен до вечера, каких бы прелестных женщин ни случилось мне потом встретить. Мое «чувство» всякий день было другим, насколько была другой пленившая меня на этот раз женщина. Если это была нежная девушка, мое чувство было нежным и робким, если это была зрелая красавица, сама бросившая на меня благосклонный взгляд, я чувствовал себя весь день Дон-Жуаном. Ни одну из них я не мог надеяться увидеть еще раз. Наша встреча бывала единственной, и потому к моим чувствам всегда примешивалась грусть. Только однажды пленившую меня прелестную женщину я видел еще и еще раз. Я встретил ее на Кузнецком мосту. Через день или два я увидел ее на том же месте и в тот же час. Она шла так же, как и тогда, изредка заходя в магазины, а за ней по улице ехала маленькая каретка, запряженная американским рыжим рысачком, на которые тогда была мода; с ней шел высокий лакей в английской ливрее, который принимал от нее мелкие покупки. Кто была она, я не узнал и не пытался узнать, хоть это было, вероятно, нетрудно: по всей видимости, она принадлежала к какой-нибудь известной богатой или аристократической московской фамилии. Она была высока, стройна, исполнена какой-то нежной величавости. Лицо ее было изрыто оспой — густо-густо засыпано рябинами. Я бы сказал, что это ее не портило, нет, без этих рябин она не была бы сама собой; не будь их, с ними, может быть, ушло и ее очарование. И долго потом я не считал ни одну женщину красивой, если она не была рябой.

Когда мама приехала перед рождеством в Москву спасать меня из «когтей тигрицы», я уже не томился неудовлетворенной страстью. «Тигрица» была крстким, чувственным, немного экзальтированным созданием и происходила из студии Художественного театра.

Я безропотно дал себя увезти домой и так же без протестов остался после рождества дома.

Мама спасла меня этим не только от «тигрицы», как она думала, но и от другой, уже действительной неприятности. Наши школьные преподаватели, как я говорил уже, спасовали перед нашествием на школу левого искусства, как его тогда называли. Но начальство не растерялось и сдаваться не думало. На весенний экзамен был командирован из Петербургской Академии художеств Конст. Маковский, который и навел порядок в нашей школе. Когда осенью я вернулся в училище, то не до-

считался многих и многих своих товарищей. Не было и Бурлюка. Если бы я не высидел это полугодие дома, быть бы и мне исключенным.

В Чернигове было скучновато. Никого из товарищей — кто в Питере, кто в Киеве.

На первых порах я занялся подготовкой к экзамену по анатомии. Доктор Розенель подарил мне труп сумасшедшего — здоровенного, прекрасно сложенного парня. Я больше месяца ежедневно возился над ним в анатомическом театре, собственноручно отрабатывая один участок мышц за другим.

По вечерам я отправлялся побродить по пустынным улицам и валу. В одну из таких прогулок я встретил своего еще гимназического товарища, давно отставшего от нас, побывавшего и второгодником и третьегодником и наконец совсем покинувшего гимназию и не поступившего никуда дальше. Он был еще свободнее меня. Мы пошли вместе, болтая о вещах, мне совсем неинтересных.

Вдруг нас перегнала быстрыми шагами девушка. Я видел при свете дугового фонаря уже удаляющуюся стройную, но плотную фигуру, видел толстую-толстую косу слегка курчавых каштановых волос (она была без шляпы и без платка). «Маруся! Здравствуйте»,— окликнул ее мой приятель. Она передернула плечами и ответила что-то вроде: «Драстуй, когда не шутишь!» Но потом остановилась и повернулась к нам. Маруся была совершенным типом украинской красоты, который в ней осуществился как будто нарочно во всей полноте. Тут было все, что давно узаконено для этого типа: темные, слегка волнистые волосы, золотисто-смуглый цвет лица, сквозь который с трудом, казалось, пробивался иногда очень обильный румянец, огромные глаза с длиннейшими ресницами, малюсенькая ножка и такая же маленькая рука, уже загрубевшая в работе. (Маруся, конечно, все для себя и по дому делала сама. Она жила в маленьком двухоконном домике вдвоем с не совсем нормальной матерью, которая не могла быть ей помощницей ни в чем.) Это все я разглядел и узнал, конечно, потом. Сейчас в темноте она пожала мне руку. Скоро мы расстались с моим приятелем, и я пошел проводить Марусю.

На другой вечер я встретил ее почти на том же месте, хоть эта встреча и не была условленной. Потом уже мы каждый вечер встречались с ней и бродили до поздней ночи по улицам. Она ходила не зря. Маруся была сестрой при земской больнице и по вечерам обходила по заданию доктора больных, ставя им банки, делая перевязки и прочее. Я всякий раз ждал ее у ворот на скамеечке — у каждых ворот ведь врыты скамейки. У нас бывал причудливый, всякий раз новый маршрут в зависимости от данного ей расписания. Когда обход заканчивался, мы шли уже по тем местам, какие избирала наша фантазия. Вернее — шли наугад, куда глаза глядят, мало замечая, что делалось кругом, и вдруг оказывались где-нибудь на берегу реки или в далекой глуши за городским садом.

Была весна, та ранняя весна, которой я не видел в Чернигове уже несколько лет. Теперь я наблюдал ее ночные часы. По ночам бывало еще прохладно. Даже ручейки по улицам замолкали: где-то там подмерзали их истоки. Но воздух был уже давно не зимний — мягкий, теплый,— и небо выглядело по-весеннему. Плыли мелкие облачка, все почти одинаковые, среди них темнели провалы неба, а в них вспыхивали звезды. Те самые облачка, которые почему-то в детстве мне всегда напоминали простоквашу в тарелке. Когда же по этому небу неслась луна, казалось, что тот неясный весенний шум, который стоял вокруг, производила она своим бегом среди облачков. Небо смотрело сквозь вершины еще голых деревьев, которые тоже не стояли неподвижно, как

в спокойную летнюю ночь, а все время шевелили своими легкими ветками. Мы сидели где-нибудь под деревьями на запрятанной во тьму скамейке, держась за руки, и по целым часам молчали.

Да, для меня-то это был тихий отдых после первой беспокойной страсти, которую я оставил в Москве, а для Маруси, вероятно, это было чем-то совсем иным.

Весна все больше входила в свои права. Начался разлив. Мы уже не раз катались светлой ночью на лодке. Уже стали съезжаться мои товарищи. Я теперь не всегда попадал вечером к тому месту, откуда Маруся начинала свое вечернее путешествие: то застревал в гостях, то попадал в театр. Маруся встречала меня потом молча, без упреков, но мрачнела все больше и больше, и мне все труднее становилось ее развеселить. Не по себе мне было около нее, все более мрачной, и я иногда, даже когда не бывал ничем занят, пропускал наши встречи.

Как-то ночью я вернулся домой из театра. Маруся ждала меня у подъезда. Только теперь, увидя ее слезы, я понял, как я ей нужен, и ужаснулся, почувствовав в ответ на это в своем сердце пустоту, но не решился и на этот раз резко сказать правду. Все-таки это была наша последняя встреча. Она стала избегать меня.

Прошло несколько месяцев. Лето приходило к концу. У нас в саду цвели астры на пыльных грядках. Я рвал их и складывал в букет. Вошел мой товарищ, студент-медик, и сказал, что сейчас в приемный покой привезли Марусю: она отравилась уксусной эссенцией.

Может быть, здесь не вся Марусина история. Может быть, я чего-нибудь не знал. Хочу утешать себя этой мыслью.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«НОВЫЙ МИР»

В предстоящем 1966 году «Новый мир» предполагает напечатать: заключительные главы романа Конст. ФЕДИНА «Костер», повесть В. АСТАФЬЕВА «Кража», новый роман А. БЕКА, роман белорусского писателя В. БЫКОВА «Мертвым не больно», повесть Н. ВОРОНОВА «Гибель такси», новые главы записок генерала армии А. В. ГОРБАТОВА, повесть Е. ДРАБКИНОЙ о В. И. Ленине, роман В. ДУДИНЦЕВА «Неизвестный солдат», окончание «Деревенского дневника» Е. ДОРОША, роман С. ЗАЛЫГИНА «Соленая падь», «Камчатские очерки» Виктора НЕКРАСОВА, исторические повести В. ПАНОВОЙ, повесть Виталия СЁМИНА «Исполнение надежд», воспоминания Анастасии ЦВЕТАЕВОЙ «Из прошлого», дневники 1941 года Константина СИМОНОВА, новые романы, повести, рассказы Ч АЙТМАТОВА, В. АКСЕНОВА, О. БЕРГГОЛЬЦ, Г. БАКЛАНОВА, Ю. БОНДАРЕВА, Г. ВЛАДИМОВА В. ВОЙНОВИЧА, Л. ВОЛЫНСКОГО, И. ГРЕКОВОЙ, Ю. ДОМБРОВСКОГО, В. КАВЕРИНА, Ю. КАЗАКОВА, В. ЛИХОНОСОВА, А РЫБАКОВА, К. ПАУСТОВСКОГО, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, А. СОЛЖЕНИЦЫНА, В. ТЕНДРЯКОВА, Г. ТРОЕПОЛЬСКОГО В. ФОМЕНКО, И. ЭРЕНБУРГА, А. ЯШИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ

	12 мес	6 мес.	3 мес
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р 10 к
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати» без ограничений.